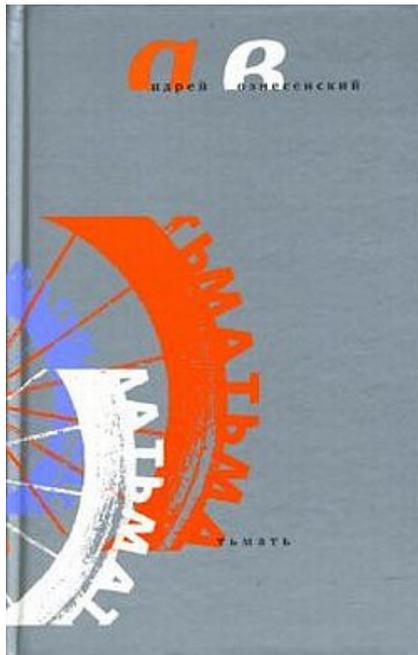


Андрей Вознесенский Тьма



«Тьма»: Время; Москва; 2007
ISBN 978-5-9691-0218-7

Аннотация

В новую книгу «Тьма» вошли произведения мэтра и новатора поэзии, созданные им за более чем полувековое творчество: от первых самых известных стихов, звучавших у памятника Маяковскому, до поэм, написанных совсем недавно. Отдельные из них впервые публикуются в этом поэтическом сборнике. В книге также представлены знаменитые видеомы мастера. По словам самого А.А.Вознесенского, это его «лучшая книга».

Андрей Вознесенский Тьма

ПЛАВКИ БОГА Пятидесятые

* * *

Памяти Б. и С.

Эх, Россия!
Эх, размах...
Пахнет псиной
в небесах.

Мимо Марсов, Днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным символом
прогресса
носится собачий труп.

1959

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все – эпигоны,
все после нас...

С неба тяжёлого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К чёрту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти

локоны, веки,
лепеты эти?

Тысячеустым
четверостишием
чище искусства,
чуда почище.

1950-е

ОСЕННИЙ ВОСКРЕСНИК

Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!

Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
вёдра и лопаты.

Над головоломной
ка —
та —
строфой
мы летим в Коломну
убирать картофель.

Замотаем платица,
брючины засучим.
Всадим заступ в задницы
пахотам и кручам!

1953

КОЛЕСО СМЕХА

Летят носы клубникой,
подолы и трико.
А в центре столб клубится —
ого-го!

Смеху сколько —
скользко!

Девчонки и мальчишки
слетают в снег, визжа,
как с колеса точильщика
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит
товарищей иных,
им задницы занозит
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.

Слетаю метеором
под хохот и галдёж...
Умора!
Ой, умрёшь.

1953

* * *

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.
Искусство мертво без искры,

не столько Божьей, как людской,
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.

Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,

они – небритые, как солнце,
и точно сосны – шелушась.

И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши – чисто и чумазо,
смахнувши – точно стрекозу,
в ладони хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.

1953

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка к колонке
сбегает напиться

и талия блещет
увёртливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая чёлка
с водою лопочет
две чудных речонки

к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?

1955

* * *

Не надо околичностей,
не надо чушь молоть.
Мы – дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантомании
и скудости ума.
Отцам за Иссык-Кули,
за домны, за пески
не орденами – пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как пломбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой
горели на заре

венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутью
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы – сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужество амнистий
и сорванных замков.
Распахнутые двери,
сметённые посты.
И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

1956

ДАЧА ДЕТСТВА

Интерьеры скособочены
в оплеухах снежных масс.
В интерьерах блеск пощёчин —
раз-раз!

За проказы, неприличности
и бесстыжие глаза,
за растёгнутые лифчики —
за-за!

Дым шатает половицы,
искры сыплются из глаз.
Этак дача подпалится —
раз-раз!

Поцелуи и пощёчины,
море солнца, птичий гвалт, —
задыхаемся, хохочем —
март!

1950-е

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.

Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей верхтормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...

Волос – под ноль.
Воля – под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!

Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблучков.

Точно косули,
зябко стоят.
Вешних сосуллек
грешный отряд.

Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.

Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в Бутырках
бедных блядищ.

Эх, бедовая
судьба девчачья!
Снявши голову,
по волосам не плачут.

1956

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество – это отрочество.

Ходит он – синеокий,
гусельки на весу,
очи его – как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество – это старт.

1957

ПЕРВЫЙ ЛЁД

Мёрзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
всё в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы – льдышки. В ушах – серёжки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лёд. Это в первый раз.
Первый лёд телефонных фраз.

Мёрзлый след на щеках блестит —
первый лёд от людских обид.

Поскользнёшься, ведь в первый раз.
Бьёт по радио поздний час.

Эх, раз,
ещё раз,
ещё много, много раз.

1956

СВАДЬБА

Где пьют, там и бьют —
чашки, кружки об пол бьют,
горшки – в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чьё-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелёгкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?
Где пьют, там и льют —
слёзы, слёзы, слёзы льют...

1956

ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбуждённых продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны:
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот,
земля мотается
в авоське
меридианов и широт!

1956

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар, пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой краснозадой
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман – как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...

Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь – смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь – горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

...Всё выгорело начисто.
Милиции полно.
Всё – кончено!
Всё – начато!
Айда в кино!

1957

ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да всё добро своё раздала,

миру по нитке – голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чём мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,

искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола – дотла.

1957

МАСТЕРСКИЕ НА ТРУБНОЙ

Дом на Трубной.
В нём дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.

В нём мы чертим клубы, домны,
но бывало,
стены фрескою огромной
сотрясало,

шла империя вприпляс
под венгерку,
«феи» реяли меж нас
фейерверком!

Мы небриты, как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,

но упорны и умны,
сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...

Ах, куда вспорхнём с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
alma mater?

Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1957

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несётся в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Борька – Любку, Чубук – двух Мил,
а он учительку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» – Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведёт урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло таинственное
о н о...

И стоит она возле окон —

чернокося, синеокая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берёт!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.
Педсоветы сидят:
«Учтите,
вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье грядут родители.
Ленка-хищница, Ленка-мразь,
ты ребёнка втоптала в грязь!

«О, спасибо, моя учительница,
за твою высоту лучистую,
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок,

и сейчас, как звон вырубалочки,
из жемчужных уплывших стран
окликает меня англичаночка:
«Проспишь алгебру,
мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка – где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влёт...

Елена Сергеевна водку пьёт.

1958

* * *

Б. А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска.
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно – печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеётся искоса.

1958

* * *

У речки-игруньи
у горной глазури
берёзы
в Ингури
берёзы
в Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
берёзы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
и до ночи
лежу

сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
прожекторами
салюты над Москвой

1958

НЕМЫЕ В МАГАЗИНЕ

Д. Н. Журавлёву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.

И гневным протестом,
что всё это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
по курам зелёным,
пахнуло слезами,
как будто озоном.

О, слёз этих запах
в мычащей ораве!..
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий, с беконом,
подобием мата
ревел, как Бетховен,
земно и лохмато.

В стекло барабаня,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухонемая!

Кассирша, осклабясь,
косилась на солнце
и ленинский абрис
искала в полсотне.

Но не было Ленина.
Всё было фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1958

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одёргиваешь платъице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют,
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенеv до немоты,

стоят, как каменные, бабы,

луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1958

ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа
и гудят как шмели
золотые глаза!

Мы бредём от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе – скиты
бродят пчёлы мохнатые
нагибая цветы

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

В каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты – живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли – тайге.

1958

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери – хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
ну и ну!
Слабовато Ренуару

до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал —
будто доменную печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня,
в полушубках, кровь с огнём, —
как их шуткой
шуганём!

Ой, испугу!
Ой, в избушку
как из пушки, во весь дух:
– Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

1958

ТУЛЯ

Кругом тута и туя.
А что такое – Туля?

То ли турчанка —
тонкая талия?

То ли речонка —
горная,
талая?

То ли свистулька?
То ли козуля?
Т у л я!

Я ехал по Грузии,
грушевой, вешней,
среди водопадов
и белых черешней.

Чинары, чонгури,
цветущие персики
о маленькой Туле
свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались.
И всё, что успели,
столкнулись – расстались
на Руставели...

Но свищут пичуги
в московском июле:
«Туйт —
ту-ту —
туля!
Туля! Туля!

1958

* * *

По Суздалию, по Суздалию
сосулек, смальт —
авоською с посудой
несётся март.

И колокол над рынком
мотается серьгой.
Колхозницы – как крынки
в машине грузовой.

Я в городе бидонном,
морозном, молодом.
«Америку догоним
по мясу с молоком!»

Я счастлив, что я русский,
так вижу, так живу.
Я воздух, как краюшку
морозную, жую.

Весна над рыжей кручей,
взяв снеговой рубеж,
весна играет крупом
и ржёт, как жеребец.

А ржёт она над критикой
из толстого журнала,
что видит во мне скрытое
посконное начало.

1958

ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

*...носы на солнце лупятся,
как живопись на фресках.*

Долой Рафаэля!
Да здоровствует Рубенс!
Фонтаны форели,
цветастая грубость!

Здесь праздники в будни,
арбы и арбузы.
Торговки – как бубны,
в браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здоровствуют бабы,
торговки салатом,
под стать баобадам
в четыре обхвата!

Базары – пожары.
Здесь огненно, молодо
пылают загаром
не руки, а золото.

В них отблески масел
и вин золотых.
Да здоровствует мастер,
что выпишет их!

1958

ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я сплавлю скважины замочные.
Клевещущему – исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трёхспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулемёты, телефоны
меня косили наповал.
И точно тенор – анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж,
что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали чёрные ручьи.

И всё оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дёргайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958

БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелюю пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было – начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?...

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это – точно!

1958

БАЛЛАДА РАБОТЫ

Е. Евтушенко

Пётр
Первый —
пот
первый...
не царский (от шубы,
от баньки с музы кой) —
а радостный,
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
дубы топорищ!
Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!

А он только крякал,
упруг и упрямя,
расставивши краги,
как башенный кран.

А где-то в Гааге
духовный буян,
бродяга отпетый,
и нос точно клубень —
Петер?

Рубенс?!

А может, не Петер?
А может, не Рубенс?
Но жил среди петель
рубинов и рубищ,
где в страшных пучинах
восстаний и путчей
неслись капуцины,
как бочки с капустой.

Его обнажённые идеалы
бугрились, как стёганые одеяла.

Дух жил в стройном гранде,
как бургер
обрюзгший,
и брюхо моталось
мохнатую
брюквой.

Женившись на внучке,
свихнувшись отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.

Дымясь волосами, как будто над чаном,
он думал.
И всё это было началом,
началом, рождающим Савских и Саский...

Бьёт пот —
олимпийский,
торжественный,
царский!
Бьёт пот
(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьёт пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьёт пот,
превращающий на века
художника – в бога, царя – в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги – рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

* * *

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Эта песенка непростая.
Непроста усов седина.
То хрустальна, а то мутна.

Как плотина, усы блистали,
как присяга иным векам.
Партизаночка шла босая
к их сиянию по снегам.

Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при гимне.
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страной,
словно птица страшной красы,
плыли с красною бахромою
государственные усы...

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Ты у гроба его не простаивал,
проводя – аж губы в кровь —
роковую свою любовь.

1958

* * *

Кто мы – фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нет «физиков», нет «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее – «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг – не то?...
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы – в стихотворцы!

Ну а ты?...
Уж который месяц —
В звёзды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей – бросила.

И опять, и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлёныш,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся стоишь!..

Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна – но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой, Верка, Вега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

1958

ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опек,
и так весною поросли

пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959

ЁЛКА

За окном кариатиды,
а в квартирах – каблуки...
Ёлок
крылья
реактивные
прошибают потолки!
Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?!
Ах, девочка с мандолиной!
Одуряя и журя,
полыхает мандарином
рыжей чёлки кожура!
Расшалилась, точно школьница,
иглочки грызёт...
Что хочется,
чем колется
ей следующий год?
Века, бокалы, луны...
«Туши! Туши!»
Любовь всегда —
кануны.
В ней —
Новый год
души.
а ёлочное буйство,
как женщина впотьмах, —
вся в будущем,
как в бусах,
и иглы на губах!

1959

ГОЙЯ

Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.
Я – Горе.

Я – голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я – Голод.
Я – горло
повешенной бабы, чьё тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я – Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звёзды —
как гвозди.

Я – Гойя.

1959

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно – во мраке, и реже – по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом – торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унёсся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жён и дерьмо академий.
Он преодолел тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая – короче, парабола – круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк – через щель, человек – по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачёты сдавали.
Куда ж я уехал! И чёрт меня нёс
меж грузных тбилисских двусмысленных звёзд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в чёрном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной

упруго и прямо – как прутик антенны!
А я всё лечу, приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно даётся нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
....
А может быть, всё же прямая – короче?

1959

МАСТЕРА
Поэма
ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники...
Звон. Звон...

Вам,
художники
всех времён!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молнией заживо
испепелял талант.

Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.

Художник первородный —
всегда трибун.
В нём дух переворота
и вечно – бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.

Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И Музу, точно Зою,
вели на эшафот.

Но нет противоядия
её святым словам —
воители,
ваятели,
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
под колокольный звон...

Вам,
варвары
всех времён!

Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!

Империю и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
тroyанского коня.

Ваш враг – резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.

Вас моё слово судит.
Да будет – срам,
да
будет
проклятье вам!

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мощна,
да рука мощна!
Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых – семеро,
их было сильных – семеро,
наверно, с моря синего
или откуда с севера,

где Ладога, луга,
где радуга-дуга.

Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтобы взвились, точно радуга,
семь разных городов.

Как флаги корабельные,
как песни коробейные.

Один – червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой – чтобы, как девица,
был белогруд, высок.
А третий – точно деревце,
зелёный городок!

Узорные, кирпичные,
цветите по холмам...
Их привели опричники,
чтобы построить храм.

III

Кудри – стружки,

руки – на рубанки.
Яростные, русские,
красные рубахи.

Очи – ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.

IV

Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земных дарам.

Здесь купола – кокосы,
и тыквы – купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
их буйные листы,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.

И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!

И москвичи молились
столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рёк:

– У, шельмы,
в бараний рог!
Сплошные перламутры —
сойдёшь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма.
Купец галантный,
куль голландский,
шипел: – Ишь, надругательство,
хула и украшательство.
Нашёл уж царь работничков —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени.
Семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь – кабальная,
им Русь – не мать!

...А младший у кабатчика
всё похвалялся, тать,
как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал...

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
– Не храм, а срам!..

...А храм пылал вполнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчишко прятался.
А немец, как козёл,
скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
всё посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой всё поглаживал...

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий
лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня – пей,
гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных
санях...
Купола горят глазуньями на распахнутых
снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной
Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу
ладов.
Ой, вы, плотнички, пилите тѣс для новых
городов.

Го-ро-дов?
Может, лучше – для гробов?...

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы нет.

Была в семь глав она —
как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.
...
И руки о рубахи
отёрли палачи.

РЕКВИЕМ

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам – не быть!

Ни белым, ни синим – не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
и кони без всадников – мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастёт.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдёт.

Растрезанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим – не быть!
Ни в снах, ни воочию – нигде, никогда...
Врёте,
сволочи,
будут города!

Над ширью вселенской
в лесах золотых
я,
Вознесенский,
воздвигну их!

Я – парень с Калужской,
я явно не промах.
В фуфайке колючей,
с хрустящим дипломом.

Я той же артели,
что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
двадцать веков!

Я тысячерукий —
руками вашими,
я тысячеокий —
очами вашими.

Я осуществляю в стекле
и металле,
о чём вы мечтали,
о чём – не мечтали...

Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетой
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!

И завтра ночью блядскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!

...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
установились очи
безглазых глазниц.

1959

ОСЕНЬ

С. Щипачёву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живёт
и мужа к ужину не ждёт.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадёт щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, всё поймёт —
поймёт осенний зов полей,
полёт семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та – с плодами,
бурёнушка и та – с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им – колоситься, токовать.
Ей – голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить, и печь топить,
и на работу выходить?»

Её я за плечи возьму —
я сам не знаю что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним – черны, по ним – седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.
Как поплавки – милиционеры.
Туман.
Который век? Которой эры?

Всё – по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...
Бреду.
Верней – барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.
Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина – от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая – вдова,
ещё твоя, уже – чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман – не разберёшься,
о чью щеку в тумаке трёшься?...
Ау!

Туман, туман – не дозовёшься...

1959

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами.
Две контролёры заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,

спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремёсла.
А я читаю им,
как девочка примёрзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта, – с чёлкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь – черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,
и, вся от слёз светла,
мне шепчешь нецензурно —
чистейшие слова?...

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты, чище Беатриче,
сбегаешь на перрон!

1959

* * *

Мы писали историю
не пером – топором.
Сколько мы понастроили
деревень и хором.

Пахнут стружкой фасады,
срубы башни, шатры.
Сколько барских усадеб
взято в те топоры!

Сотрясай же основы!
Куй, пока горячо.
Мы последнего слова
не сказали ещё.

Взрогнут крыши и листья.
И поляжет весь свет
от трёхпалого свиста
межпланетных ракет.

1959

ТИШИНЫ ХОЧУ! ***Шестидесятые***

Между кошкой и собакой

Лиловые сумерки Парижа. Мой номер в гостинице.

Сумерки настаиваются, как чай. За круглым столом напротив меня сидит, уронив голову на локоть, могучий Твардовский. Он любил приходить к нам, молодым поэтам, тогда, потому что руководитель делегации Сурков прятал от него бутылки и отнимал, если находил. А может, и потому, что и ему приятно было поговорить с независимыми поэтами. Пиетет наш к нему был бескорыстен – мы никогда не носили стихи в журнал, где он редактировал, не обивали пороги его кабинета.

В отдалении, у стены, на тёмно-зелёной тахте полувозлежит медноволосая юная женщина, надежда русской поэзии. Её оранжевая чёлка спадала на глаза подобно прядкам пуделя.

Угасающий луч света озаряет белую тарелку на столе с останками апельсина. Женщина приоткрывает левый глаз и, напряжённо шупая почву, начинает: «Александр Трифонович, подайте-ка мне апельсин. – И уже смело: Закусить».

Трифонович протрезвел от такой наглости. Он вытаращил глаза, очумело огляделся, потом, что-то сообразив, усмехнулся. Он встал; его грузная фигура обрела грацию; он взял тарелку с апельсином, на левую руку по-лакейски повесил полотенце и изящно подошёл к тахте.

«Многоуважаемая сударыня, – он назвал женщину по имени и отчеству. – Вы должны быть счастливы, что первый поэт России преподносит Вам апельсин. Закусить».

Вы попались, Александр Трифонович! Едва тарелка коснулась тахты, второй карий глаз лукаво приоткрылся: «Это Вы должны быть счастливы, Александр Трифонович, что Вы преподнесли апельсин первому поэту России. Закусить».

И тут я, давась от смеха, подаю голос: «А первый поэт России спокойно смотрит на эту пикировку».

Поэт – всегда или первый, или никакой.

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили, и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие рёбра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьёт торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен сквозь уют
горящие затрешины?
Не любят – бьют, и любят – бьют,
бьют женщину.

Но чист её высокий свет,
отважный и божественный.
Религий – нет, знамений – нет.
Есть Женщина!..

...Она, как озеро, лежала,
стояли очи, как вода,
и не ему принадлежала,
как просека или звезда,

и звёзды по небу стучали,
как дождь о чёрное стекло,
и, скатываясь, остужали
её горячее чело.

1960

ГИТАРА

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и тёмный город в ней
гудел и затихал

а то как в рёве цирка
вся не в своём уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы – дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадётся сигаретка

1960

* * *

По мотивам Расула Гамзатова

Если б были чемпионаты,
кто в веках по убийствам первый, —
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по лжи и подлостям первый,
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по подвигам первый, —
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..
Безмолвствует Двадцать Первый.

1960

БАЛЛАДА 41-го ГОДА

Партизанам Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замёрзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, чёрный ящик,
лежал на брюхе и гудел.

Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.
А пальцы вспухшие атели.
На левой – два, на правой – пять...
Он
опускался
на колени,
чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Металась пламенем сполошным
их красота, их божество...
И было величайшей ложью
всё, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревёт рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И, как коронного пассажи,
я жду удара топора!

1960

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза – красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил,
лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

его сирень томилась...
Как звездопад,
в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России – ни души.

Художники уходят
Без шапок,
будто в храм,
в гудящие уголья,
к берёзам и дубам.

Побеги их – победы.
Уход их – как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно над землёй
ворочаются корни
корявой пятернёй.

1960

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц её хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами
разражаются
глаза!
Пол-лица ошеломлённое стекло
вертикальными озёрами зажгло.

... Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь, как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажжёт и поселился на постой...»

Ты грустишь – хохочут очи, как маньяк.
Говоришь – они к аварии манят.

Вместо слёз —
иллюминированный взгляд.
«Симулирует», – соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..
...Возле моря отрешённо и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке, время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом, как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю, как брелоки,
прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,
Плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зелёная душа.

Мы – битники. Среди хулы
мы – как зверёныши, волчата.
Скандалы, точно кандалы,
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали – я шут?
Я – суд!

Я – Страшный суд. Молись, эпоха!

1961

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брежжат дюралевые витражи,
точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звёздные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики,
ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибытьё»
возвещаешь!

* * *

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!
Пять полуночиц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

Видно, допрыгалась —
блядь, аистёнок, звезда!..
Электроплитками
пляшут под ней города.

Где она реет,
стонет, дурит?
И сигареткой
в тумане горит?

Она прогноз не понимает.
Её земля не принимает.

* * *

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
как в партизаны, уходишь в свои вестибюли.

Мощное око взирает в иные мира.
Мойщики окон
слезят тебя, как мошкара,
Звёздный десантник, хрустальное чудище,
сладко, досадно быть сыном будущего,
где нет дураков
и вокзалов-тортов —
одни поэты и аэропорты!
Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

* * *

Аэропорт – озона и солнца
аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —
преодоленья
несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.
Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин – дурак, твердокаменный чёрт.

Памятник эры —
Аэропорт.

1961

ВСТУПЛЕНИЕ

Открывайся, Америка!
Эврика!

Короную Емельку,
открываю, сопя,
в Америке – Америку,
в себе —
себя.

Рву кожуру с планеты,
сметаю пыль и тлен,
спускаюсь
в глубь

предмета,
как в метрополитен.

Там груши – треугольные,
ищу в них души голые.
Я плод трапециевидный
беру, не чтоб глотать —
чтоб стёкла-сердцевинки
сияли, как алтарь!

Исследуйте, орудуйте,
не дуйте в ус,
пусть врут, что изумрудный, —
он красный, ваш арбуз!

Дарвины, Рошали
ошибались начисто.
Скромность украшает?
К чёрту украшательство!

Вгрызаюсь, как легавая,
врубаюсь, как колун...
Художник хулиганит?
Балуй,
Колумб!

По наитию
дую к берегу...
Ищешь
Индию —
найдёшь
Америку!

1961

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Обожаю
твой пожар этажей, устремлённых
к окрестностям рая!
Я – борзая,
узнавшая гон наконец, я – борзая!
Я тебя догоню и породу твою распознаю.
По базарному дну
ты, как битница, дуешь, босая!

Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,
как мельницы,
по безбожной, бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.

Вот нелёгкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела и задворки,
и на женщин глаза
отлетали, как будто затворы!

Мне на шею с витрин твои вещи дешёвками вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши про вежливость.

Я спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом.
Синей лампой в подвале
плясала твоя негритянка!

Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.
Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...

Я на крыше, как гном,
над нью-йоркской стою планировкой.
На мизинце моём
твое солнце – как божья коровка.

1961

МОТОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Н. Андросовой

Заворачивая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги —
красные, как клешни.
Губы крашенные – грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щёки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как ваньки-встаньки.

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины
горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит её орбита!
Ах, как слёзы к белкам прибиты!
И тиранит её Чингисхан —
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц:
«Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк – по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги...
Пойду, напишу по инстанции...
И царапается, как конокрадка».
Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, – говорю, – горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А её ещё трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальной
тоской!..

1961

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай моё лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку – унесли,

мы – люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,

из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон

ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
good bye,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» – будет,
побить бы не словом, не бульдиком,
ещё на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

ты рядом и где-то далёко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзья и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы – спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

СТРИПТИЗ

В ревью
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?...
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».
Страшен танец. В баре лысины и свист,
как пиявки, глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
пневматическим исходит молотком!

Тот, как клоп, —
аполексичен и страшон.
Апокалипсисом воеет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб!
Марсианское сиянье на мостах,
проклинаю,
обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» – спрошу как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнёт.

«Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!
Закажите-ка мартини и абсент».

1961

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПТИЦА

На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица —
вместо тела
фюзеляж

и над её шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
полыхает
женский
лик!

(в простынь капиталистическую
завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюда?

может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая
не отёрши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной

у неё такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!

что ты знаешь, сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я ору. И, матерясь,
мой напарник
как ошпаренный
садится на матрас.)

СИРЕНЬ «МОСКВА – ВАРШАВА»

Р. Гамзатову
11. Ш.61

Сирень прощается, сирень – как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щёки лижется!
Сирень зарёвана,
сирень – царевна,
сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур, как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезём».

12. Ш.61

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно! Под низом
колёса поезда – не чернозём.
Наверно, в мае цвеств «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений! Из всех одна
на третьей скорости цветёт она!

Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек – одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.
Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13. Ш.61

Таможник вздрогнул: «Живьём? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда – седьмое чувство...
Вокруг планеты зелёной люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей – почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.
Чёрта с два!

1961

* * *

Конфедераток тузы бесшабашные
кривы.
Звёзды вонзались, точно собашник
в гривы!

Польша – шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально – «Андрей и полячка»,
пошло...

Как я люблю её еле смежённые веки,
жарко и снежно, как сны? – на мгновенье, навеки...

Во поле русском, аэродромном,
во поле-полюшке
вскинула рученьки к крыльям огромным —
Польша!
Сон? Богоматерь?...

Буфетчицы прыщут, зардев, —
весь я в помаде,
как будто абстрактный шедевр.

1961

ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их Величеством поразвлекся
прёт народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница – контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берёт её
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щёки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует её в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!..»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой Государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солонны?»

баба я
вот и вся провинность государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой до любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл – смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

ПОЮТ НЕГРЫ

Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, —
мы...

Вы —
белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чём мы поём вам, уважаемые джентльмены?

О
руках ваших из воска, как белая извёстка,
о, как они впечатались между плечей печальных, о,
о, наших жён печальных,
как их позорно жгло – о-о!

«Н-но!»
Нас лупят, точно клячу, мы чаевые клянчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звёздное окно.

В нас,
боксёрах, гладиаторах, как в чёрных радиаторах
или в пруду карась,
созвездья отражаются торжественно и жалостно —
Медведица и Марс – в нас...

Мы – негры, мы – поэты,
в нас плещутся планеты.
Так и лежим, как мешки, полные звёздами и легендами...

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами
Вселенная орёт!

1961

РОК-Н-РОЛЛ

Андрею Тарковскому
ПАРТИЯ ТРУБЫ

Рок —
н —
ролл —
об стену сандалиии!
Ром
в рот – лица как неон.
Ревёт
музыка скандальная,
труба
пляшет, как питон!
В тупик
врежутся машины.
Двух
всмятку —

«Хау ду ю ду?»

Туз пик – негритос в манишке,
дуй,
дуй
в страшную трубу!
В ту
трубу
мчатся, как в воронку,
лица,
рубища, вопли какаду,
две мадонны
а-ля подонок —
в мясорубочную трубу!

Негр
рыж —
как затмение солнца.
Он жуток,
сумасшедший шут.
Над миром,
точно рыба с зонтиком,
пляшет
с бомбою парашют!

Рок-н-ролл. Факелы бород.
Шарики за ролики! Всё – наоборот.
Рок-н-ролл – в юбочках юнцы,
а у женщин пробкой выжжены усы.

(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.
Об стену часы!

«Я носила часики – вдребезги, хреновые!
Босиком по стёклышкам – ой, лады...»
Рок-н-ролл по белому линолеуму...

(Гы!.. Вы обрежетеь временем, мисс!
Осторожнее!..)
...по белому линолеуму
кровь, кровь —
червонные следы!

ХОР МАЛЬЧИКОВ

Мешайте красные коктейли!
Даёшь ерша!
Под бельём дымится, как котельная,
доисторическая душа!

Мы – продукты атомных распадов.

За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам – каминь.
В рёве мотороллеров и коров
наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

ВСЕ

Над страной хрустальной и красивой,
выкаблучиваясь, как каннибал,
миссисипийский
мессия
Мистер Рок правит карнавал.

Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.
Мистер Рок – бледен, как юродивый,
Мистер Рок – министр, пророк, маньяк;
по проходим
пляшут небоскрёбы —
башмаками по муравьям.

СКРИПКА

И к нему от тундры до Атлантики,
вся неоновая от слёз,
наша юность...

(«О, только не её, Рок, Рок, ей нет
ещё семнадцати!...»)
Наша юность тянется лунатиком...
Рок! Рок!
SOS! SOS!

1961

* * *

Я сослан в себя
я – Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моём мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы

природа в реке и во мне
и где-то ещё – извне

три красные солнца горят
три рощи как стёкла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрёшки – одна в другой

одна меня любит смеётся
другая в ней птицей бьётся

а третья – та в уголок
забилась как уголёк

она меня не простит
она ещё отомстит

мне светит её лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961

ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрешины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет – налево.

Ура, галёрка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

Двенадцать скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово!

В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас – люблю!

Чему смеётесь? Над чем всплакнете?
И что черкнёте, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие – ещё лиричнее,
но это будут не вы —
другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаёмся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях,
мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как Бог,
лишь Маяковского не уберёг...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был – в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается магически
гудящей раковиною гиганта
большое ухо
Политехнического!

1962

ФУТБОЛЬНОЕ

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
самый страшный на штрафной,
бито стёкол – боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов
блещет попкой из трусов
левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
прожигательным стеклом
над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
он сипит, как сто сифонов,
ста медалями увенчан,
стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,
мяч,
мяч,
только – вмажь,
вмажь,
вмажь!

«Наши – ваши» – к богу в рай.
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце чёрной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
с ног срезаются мячи.
И под краном
ты повинный чубчик мочишь,
ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик – самый сок,
прямо в верхний уголок!»

1962

РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулём влюблённые —
как ангелы рублёвские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной,
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвётся от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

* * *

Ж.-П. Сартру

Я – семья

во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!

а весной
мне снится
что я – восьмой!

1962

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

З. Богуславской

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,

и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.

Я знаю их, я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске.
Спит Баптистерий – как развитие
моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади.
Ты калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глаза.

А факелы над чёрным Арно
невыносимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!

– Ау! – зовут мои обеты,
– Ау! – забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
– Ау! – сбегаются палаццо,
авансы юности опасны —
попался?!

И между ними мальчик странный,
ещё не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой, —
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймёшь,
преуспевающий пай-мальчик!
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?!»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью...

Сажусь в машину. Дверцы мокры,
Флоренция летит назад.
И, как червонные семёрки,
палаццо в факелах горят.

1962

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАРАЖ

Б. Ахмадулиной

Пол – мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.

Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?

Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?...

Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьётся всемятку!

Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся —
бессмертны!

Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..

Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

1962

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИГУЛДУ

Отшельничаю, берложу,
отлѣживаюсь в берѣзах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стрѣме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,
далѣкие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая всё это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зѣрна в зелѣной мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растает,

умаялась бегать по лесу,
вздremнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твоѣ лицо,
как лёгкое озерцо,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,

но снова, как разминированная, —
спасённая? спасительная!

ты младше меня? старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трёхлетняя
писает по биссектриске!

«Мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,

и это круговращение
щемяще, как возвращение...

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед улетает Сигулда,
как связка
зелёных
шаров!

1963

ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдаёт. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идёт! Десять лет.

«Возлюбленный, когда же вернёшься?!
четыре тыщи дней – как ноша,

четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя всё нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —

ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы – никогда...»

...Он бьёт её, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

ДЛИНОНОГО

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила – походка лёгкая,
а погодка такая лётная!
От земли, как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,
ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснёшь – ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.

Побледневшая, сокрушённая,
Вместо водки даёшь крюшоны —
Под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! – сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длинного
философского монолога.

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами —
к босанове несут, к самбе!

Он – приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи – такие лунные!
Длинного, побойся Бога,
сумасшедшая Длинного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается обхватив,
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длинного?...

Ты – далёко.

1963

* * *

Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...
Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых,
в облаке пуха, крика
крыльями трёхметровыми
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи!
«Цаце надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,

цап – и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая – окольцованная,

жалуется над безднами
участь её двойная:
на небесах – земная,
а на земле – небесная,

над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,

как бы ты не металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит.

С неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.

1963

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шофёров дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,

лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

1963

МАРШЕ О ПЮС. ПАРИЖСКАЯ ТОЛКУЧКА ДРЕВНОСТЕЙ

I

Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слонихи по лесам!..

Перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?

Как скорлупка, сброшен панцирь,
чей картуш?
Вещи – отпечатки пальцев,
вещи – отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!

Расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?

Почём века в часах песочных?
Чья замша стёрлась от пощёчин?

Продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.

2

Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьётся плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плющ повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —

железяк,
железяк!

Помню, он, в штанах расшитых,
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!

(Он – испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
Пусть пришлёт свою башку»!)

Я читал ему, подрагивая,
эхо ухаает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,

снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы – песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах...

3

Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
Пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны.

Я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен, как в пустыне
раскопанный ракетодром.

МОНОЛОГ МЭРИЛИН МОНРО

Я Мэрилин, Мэрилин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржёт, как мерин
(я помню Мэрилин.
Её глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звёзд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мэрилин,
её любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее – углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье – самоубийство,

самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актёрам,
жить не с потомками,
а режиссёры – одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки

на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о, кинозвёздное оледененье,
нам невозможно уединенье —
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» – глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завёртывают селёдки,

лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мёртвой Мэрилин!).

Орёт продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идёт всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо всё ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше – сразу!

1963

* * *

Ты с тёткой живёшь. Она учит канцоны.
Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..

Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки запазухой.
И пасекой пахнет.

А в Суздале – Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, вороньё,
ты в щёки мне шепчешь про детство твоё.

То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих...

В России живу – меж снегов и святых!

1963

ВЕЛОСИПЕДЫ

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу, в росе.
В берёзовых просветах
блестит шоссе.

Попадали, припали
крылом к крылу,
педалями – в педали,
рулём – к рулю.

Да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей.

Большие, изумлённые,
глядят с земли.
Над ними – мгла зелёная,
смола, шмели.

В шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат. О них забыли.
И спят, и спят.

1963

НОЧЬ

Сколько звёзд!
Как микробов
в воздухе...

1963

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожаные
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хrome лица,
зять Букашкина с пацаном —

газанём!

«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослеплённая и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвoет о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока ещё,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,

он возник,
и над лесом, над чёрной речкой
резанул
человечий
крик!

*Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребёнка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.*

Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение, мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.

Четыре чёрные дробинки, не долетев,
вонзились в воздух.
Он взглянул на нас. И – или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна, над
запёкшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумлённо и разгневанно.

Он парил. Как бы слился с криком.
Он повис...
С искажённым и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», – стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.

Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

ПОЭТ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка, зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И, как рана,
Маяковский,
щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалёван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж – рвануть судьбой,
чтобы ликом, как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень, впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришёл на Вашу выставку, Маяковский.
Мы бы – пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовою пломбочкой-ночью
опечатанные уста.

И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.

Надо временем, как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями – нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!

Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?...

Мост. Париж. Ожидаем звёзд.

Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом от самолёта,
точно бритвою по лицу!

1963

МУРОМСКИЙ СРУБ

Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свёл в кулак
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чём твоя печаль
над скамейкою замшелой, как пицаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать – дело недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои...

1963

ПЕСЕНКА ИЗ СПЕКТАКЛЯ «АНТИМИРЫ»

Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чёртовый Зимарь.

Я помню только голосок
над красным ротиком – парок,

и песенку:
«Летят вдали
красивые осенебри,
но если наземь упадут,
их человолки загрызут...»

* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас, может быть, четверо.
Несёмся в машине, как черти.
Оранжеволоса шофёрша.
И куртка по локоть – для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя, ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...»

Понимаешь, пришили превышение скорости
в возбуждённом состоянии.
А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, забыв про ОРУД,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

За эти года световые

пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственной из скоростей!

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас, может быть, четверо.
Мы мчимся – а ты божество!

И всё-таки нас большинство.

1963

НОВЫЙ ГОД В РИМЕ

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,
телеграммы,
объявления,
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны.

Сколько раз ты сбросил их?

Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомцам.
Что ещё ты натворишь?!

Человечество хохочет,
расставаясь со старьём.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаём.

Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.

Может, будет год нелёгким?
Будет в нём погод нелётных?
Не грусти – не пропадём.
Будет, что смахнуть потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,

детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыплёнок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет – свистуном?
Или чёрной, как грачонок,
сбитый атомным огнём?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами сквозь абажуры
светят женские тела.

1 января 1963

СТАНСЫ

Закарпатский лейтенант,
на плечах твоих погоны,
точно срезы по наклону
свежеспиленно слепят.

Не приносят новостей
твои новые хирурги,
век отпиливает руки,
если кверху их воздеть!

Если вскинуть к небесам
восхищённые ладони —
«Он сдаётся!» — задолднят,
или скажут «диверсант»...

Оттого-то лейтенант,
точно трещина на сердце —
что соседи милосердно
принимают за талант.

ИЗ ЗАКАРПАТСКОГО ДНЕВНИКА

Я служил в листке дивизиона.
Польза от меня дискуссионна.
Я вёл письма, правил опечатки.
Кто только в газету не писал —
горожане, воины, девчата,
отставной начпрод Нравоучатов —
я всему признательно внимал.

Мне писалось. Начались ученья.
Мчались дни.

Получились строчки о Шевченко,
опубликовали. Вот они:

СКВОЗЬ СТРОЙ

И снится мрачный сон Тарасу.
Кусищем воющего мяса
сквозь толпы, улицы,
гримасы,
сквозь жизнь, под барабанный вой,
сквозь строй ведут его, сквозь строй!
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьёт – самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:
правофланговый бьёт удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы – так нас».

За что ты бьёшь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царёк отёчный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах кукусье?
(Шпицрутен в правой, в левой – кукиш.)
За что вы столковались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли, —
сквозь сон он думал, – мелкота,
мне не простите никогда,
что вы бездарны и убоги,
вопит на снеговых заносах,
как сердце раненой страны,

моё в ударах и занозах
мясное
месиво
спины!

Все ваши боли вымещая,
эпохой сплюсненных калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю – в будущем, потом...»

...

Удар. В лицо сапог. Подъём.

1963–1965

СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытись,

как продолжение соска.

С какую женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела – в стене каркасной стройки,
Во всём, что в силе и в цене.
Вы думали – век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слёз не удержаться
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, – добавлю, – скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то...»

* * *

Отдай, тетива сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит тёмная вода.

Глубинная струя влеченья.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли чёткая стрела.

1963

* * *

Сирень похожа на Париж,

горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,
страшон от счастья и тоски,
Париж,
как пчёлы,
собираю
в мои подглазные мешки.

1963

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрёк: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —

*город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали
прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай,
сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богоматери шла,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:*

*«Проезд запрещён»,
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всём,
всё тикало,*

о Париж,
мир паутинок, антенн и оголённых
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой плёночкой,
Париж

*(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллетт»)!)*

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищённостью,
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж – горящая вода,

*Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущённо обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,*

*монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),*

над полисменом ножки реяли,

как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
вдумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
мудрый дух,
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши, и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застеклённый,
зачем с такой незащищённостью
шары мгновенные
летят?»

Как страшно всё обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжёт, как рашпиль,
мой Сартр!
Вдруг всё обречено?!..»

Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

*Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женщина усмехнулась,
«Стриптиз так стриптиз», —
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы
— о! о! —
последнее, что я помню, — это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице.
«...Мой друг, растает ваш гляссе...»*

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.

А за окном летят в веках
мотоциклисты в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

ОЛЕНЁНОК

1

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?...»

Это блуждает в крови, как иголка...
Ну почему – призадумуюсь только —
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным тувелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах —
«Ольга» —
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно
смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русской Ольгой.

2

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рошица, что ли...
Помню, ведро по ноге холодило —
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за калиточкой росно и колко...

Как вам живётся, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой „Рено“ – как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски...
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю».

Руки лежат, как в других государствах.
Правая бренди берёт, как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,

а между ними – тысячи лет.

Горе застыло в зрачках удлинённых,
о, оленёнок,
вмёрзший ногами на двух нелюдимых
и разъезжающихся
льдинах!

3

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.
Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!
Я полурусская... с именем Ольга...
Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!..

1963

ЗАПИСКА Е. ЯНИЦКОЙ, БЫВШЕЙ МАШИНИСТКЕ МАЯКОВСКОГО

Вам Маяковский что-то должен?
Я отдаю.
Вы извините – он не дожил.

Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова, Лорку
по нескончаемому долгу.

Наш долг страшен и протяжён
крово-красным платежом.

Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...
Но кто же за меня заплатит,
за всё расплатится, за всё?

1963

СТАРУХИ КАЗИНО

Старухи,
старухи —
стоухи,
сторуки,

мудры по-паучьи,
сосут авторучки,
старухи в сторонке,
как мухи, стооки,

их щёки из теми
горящи и сухи,
колдуют в «системах»,
строчат закорюки,
волнуются бестии,
спрут электрический...

О, оргии девственниц!
Секс платонический!

В них чувственность ноет,
как ноги в калеке...
Старухи сверхзнойно
рубают в рулетку!

Их общий любовник
разлётся, разбойник.
Вокруг, как хоругви,
робеют старухи.

Ах, как беззаветно
В них светятся муки!..
Свои здесь
джульетты,
мадонны
и шлюхи.

Как рыжая страстна!
А та – ледяная,

а в шляпке из страуса
крутит динаму,

трепещет вульгарно,
ревнует к подруге.
Потухли вулканы,
шуруйте, старухи.

...А с краю, моргая,
сияет бабуся:
она промотала
невесткины
бусы.

1963

НЕИЗВЕСТНЫЙ – РЕКВИЕМ В ДВУХ ШАГАХ С ЭПИЛОГОМ

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи вёрст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
но родина в радиосеть:
«В атаку, – зовёт, – твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
Идет
наступать
один!

И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один как перст.
Против кого ты прёшь?
Против громады, Эрнст!

Против – миллионпятьсотсорокасемитысячevesемь —
сотдвадцатитрёхквдратнокилометрового чудища
против, —
против армии, флота, и угарного сброда, против —
культургервышибал, против
национал —
социализма, —
против!
Против глобальных зверств.
Ты уже мёртв, сопляк»?...
«Ещё бы», – решает Эрнст.
И делает
Первый шаг!

И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым,
Качнётся сирень по скверам
уж не тебе, а им,
не будет —
1945, 1949, 1956, 1963 – не будет,
и только формула убитого человечества станет —
3 823 568 004 + 1,

и ты не поступишь в университет,
и не перейдёшь на скульптурный,
и никогда не поймёшь, что горячий гипс пахнет,
как парное молоко,
не будет мастерской на Сретенке, которая запирается
на проволочку,
не будет выставки в Манеже,
не будет сердечной беседы с Никитой Сергеевичем,
и ты не женишься на Анне —
не, не, не...
не будет ни Нью-Йорка, ни «Древа жизни»

*(вернее будут, но не для тебя, а для белёсого
Митьки Филина, который не вылез тогда из окопа),
а для тебя никогда, ничего —
не!
не!
не!..*

Лишь мама сползёт у двери
с конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик»?!
«Ещё бы», – думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье, —
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаше и прожекторно,
в отличие от зверей, —
способность к самопожертвованию
единственна у людей.

Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,
когда окружён бабьём,
как ихтиозавр нетрезв,
ты пьёшь за моим столом,

когда правительства в панике
хрипят, что ты слаб в гульбе,
я чувствую, как памятник
ворочается в тебе.

Я голову обнажу
и вежливо им скажу:

«Конечно, вы свежевыбриты
и вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
за родину наповал?»

1964

ОЗА

*Тетрадь, найденная в тумбочке
дубненской гостиницы*

* * *

Аве, Оза. Ночь или жильё,
псы ли воют, слизывая слёзы,
слушаю дыхание Твоё.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь – великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно – как сейчас тебе одной?
Но страшнее – если кто-то возле.
Чёрт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю – бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я – печальный полюс,
ты же – светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. пребывай светла.
Мимолётное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

1

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

слушает замагниченно,
свет сквозь неё струится,
красный, как земляничинка,
в кончике её мизинца,

вся изменяясь смутно,
с нами она – и нет её,
прислушивается к чему-то,
тает, ну как дыхание,

так за неё мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.
Говорили ей, – не ходи в зону!
А она...

Вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея,
жертво-ли-приношенье?
Или она нас дразнит?

«Зоя, – кричу я, – Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не
понимает.

Может, её называют Оза?

2

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,
изменяли очертания, как лампочки иллю —
минации на Центральном телеграфе.
Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем
же. И нос был на месте, только вставлен
внутрь, точно полый чехол кинжала. Не —
умещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озёра,
зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали
ножницами. Они чуть погромыхивали
от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как чёрный сноп
прожектора. В ней лежало утонувшее ведро

и плавали кусочки тины.
Из трёх облачков шёл дождь. Они были похожи
на пластмассовые гребёнки с зубьями дождя.
(У двух зубья торчали вниз, у третьего – вверх.)

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской
башни встала колокольня Ивана Великого.
На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.
Страницы истории были перетасованы, как карты
в колоде. За индустриальной революцией
следовало нашествие Батя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили
профилактику. Их разбирали и собирали.
Выходили обновлёнными.
У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине
вроде зеркала отоларинголога.
«Счастливчик, – утешали его. – Удобно
для замочной скважины! И видно,
и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце
забыли положить, сердце!» Двумя пальцами
он выдвинул ей грудь, как правый ящик
письменного стола, вложил что-то
и захлопнул обратно.

Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.
«Е9 – Д4, – бормотал экспериментщик. —
О, таинство творчества! От перемены мест
слагаемых сумма не меняется. Важно
сохранить систему. К чему поэзия? Будут
роботы. Психика – это комбинация
аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по эква —
тору и вложить одно полушарие
в другое, как половинки яичной скорлупы...
Конечно, придётся спилить Эйфелеву башню,
чтобы она не проткнула поверхность
в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но
зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум
сохранял порядок.
Его члены сияли, как яйца
в аппарате для просвечивания яиц. Они были
круглы и поэтому одинаковы со всех сторон.
И лишь у одного над столом вместо туловища
торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его,
как у целлулоидного пупса, была
повернута вперёд затылком. «Вперёд,
к новому искусству!» – призывал
докладчик. Все соглашались.
Но где перёд?

Горизонтальная стрелка указателя (не то
«туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на
манер десяти минут третьего.

Люди продолжали идти целеустремлённой
цепочкой по её направлению, как
по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим как апокалипсический знак
горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!»
Но кнопки были воткнуты остриём вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-чёрные брови были нарисованы не над,
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, её называют Оза?

3

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..
Почему-то под дулами,
наведёнными снизу,

ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведённым патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полёт безутешен,
но пахнуло полётом,
и – уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —

чтобы только прикрыть её
от прицела трясины.

Пусть ещё погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду – раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду до пули.

4

А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?
Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?
Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в офисы – вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чём претензии?
Провинциалочка некая!

Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце как безработица.
В мире – роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..
Обратно – к истокам неслись реки.
Обратно – от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались в пру —
тики саженцев – обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев
прожжённую дырочку на рубашке, юркну —
ла в ствол маузера 4-03986, а тот, свернув —
шись улиткой, нырнул в ящик стола...

... Твой отец историк. Он говорит, что
человечество имеет обратный возраст.
Оно идёт от старости к молодости.
Хотя бы Средневековье. Старость.
Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс – бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, всё познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.

Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX...
А начало XX века – бешеный ритм революции!..
Восемнадцатилетие командармы.
«Мы – первая любовь земли...»
«Я думаю о будущем, – продолжает историк, —
когда все мечты осуществляются. Техника
в добрых руках добра. Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?...»
Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

5

А не махнуть ли на море?

6

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям
об Озе и величье бытия,

но внезапно чёрный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал: «А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее – трудиться,
полпланеты раскря...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты – великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холодея...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь – будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Всё – мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина – без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была – а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живём не чтоб подохнуть —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить – необъяснимо.
Кто не жил – что спорить с ними?!

Можно бы – да на фига?

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру соткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идём навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину. И прежде чем встречаются наши руки, сливаются наши тени – живые, тёплые, окружённые мёртвой белизной.

Мне кажется, что ты всё время идёшь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой – будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе – я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы. Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя ещё может измениться и наступать. «Наполеон, – говорю я, – был выдающийся государственный деятель».

Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», – говоришь ты.

У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые – такие уже не носят.

«Ещё не носят», – смеёшься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне.

Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ёрзаешь. «Ну что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!»

А раньше я тебя боялась... А о чём ты думаешь?...»

Может, её называют Оза?

8

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфельк пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят – времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы ещё тёплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову – спать не дают!

Выйду ли к пляжу – туфельк пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?...

...В мире металла, на чёрной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!
...

9

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая
подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты – прекрасно!»?
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж – прекращённое движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье – как зверинец меж людей.

В нём тонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть – не видеться с тобой,
какая грусть – увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя, – какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жуёт бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решётку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьётся голосок...

От автора и коё-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Берёзы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет её берёз.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашёл в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
её командировщики листали,
острили на полях её устало
и засыпали, сияясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактивист»!
А снизу красным: «Сам туда катись!»

«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
ты смотришь в книгу – видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментария без них.

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.
А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ

10

Ты сегодня, 16-го, справляешь день
рождения в ресторане «Берлин».
Зеркало там на потолке.
Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали
гости. В центре потолка нежный, как вымя,
висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввёрнутые
в элегантные чёрные розетки костюмов,
сияли лысины и причёски. Лиц не было видно.
У одного лысина была маленькая, как дырка
на пятке носка. Её можно было закрасить
чернилами. У другого она была прозрачна,
как спелые яблоко, и сквозь неё, как зёрнышки,
просвечивали три мысли (две чёрные и одна
светлая – незрелая).

Проборы щёголей горели, как щели в копилках.
Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным
нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.
Лиц не было видно. Зато перед каждым, как
таблички перед экспонатами, лежали бумажки,
где кто сидит. И только одна тарелка была
белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки
пустое место?»

«Генерала, может, ждут?», «А может,
помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим.
Изящные денди, подходящие тебя поздравить,
спотыкаются об меня, царапают вилками.
Ты сидишь рядом, но ты восторженно
чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то
этакого! Поближе к жизни, не от мира сего...
чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее опускается,

как спускают трап с вертолѐта). Голос его странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

*Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой – молитвой последнюю —
я умоляю —
стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Её льдистые.*

*Я не кощунствую – просто нет силы,
жизнь заберу и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!*

*Видишь – лежу – почернел, как кикимора.
Всё безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...*

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец. Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берёт следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

*– Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твоё озеро.
До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай Бог – в Заозье занесёт...*

Все замолкают.
Слово берёт тамада Ъ.
Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Гост за новорожденную».
Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За её новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)
Как это всё напоминает что-то!

И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим

поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются
затылками друг Друга, симметричные,
как песочные часы. Но что это? Где я?
В каком идиотском измерении? Что это
за потолочно-зеркальная реальность?
Что за наоборотная страна?!
Ты-то как попала сюда?
Ещё мгновение, и всё сорвётся вниз,
вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя,
разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир,
твою страну, страну естественности, чувства —
где ольха, теплоходы, где доброе зеркало
Онежского озера...
Помнишь?

Задумавшись, я машинально глотаю
бутерброд с кетовой икрой.
Но почему висящий напротив, как окорок,
периферийный классик с ужасом смотрит
на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,
а бутерброд реален! Он передвигается
по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.
Слух моментально пронизывает головы,
как бусы на нитке.
Красные змеи языков ввинчиваются в уши
соседей. Все глядят на бутерброд.
«А нас килькой кормят!» – вопит классик.
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат
меня, кто же выручит тебя, кто же
разобьёт зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь
на красную дорожку пола. Рядом со мной,
за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо,
жмут кому-то. Левая припала к правой.
(Как всё напоминает что-то!)
Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом
проносится по мне. Подошвы! Подошвы!
Почему все ботинки с подковами?
Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.
Чьи-то каблочки, подобно швейной
машинке, прошивают мне кожу на лице.
Только бы не в глаза!..
Я вспоминаю всё. Я начинаю понимать всё.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.
«Зоя! – ору я. – Зоя!»

А может, её называют Оза?

II

Знаешь, Зоя, теперь – без трёпа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, – в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твоё опустело.
Что-то в нём приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было – и дождь, и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоел, зараза.
Только ты не переменилась.

А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рёв их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на чёрта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие – неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.
Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернёмся к поэме.

12

Экспериментщик, чёртова перечница,
изобрёл агрегат ядрёный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир – не хлам для аукциона.
Я – Андрей, а не имярек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное – человечность —
хорошо ль вам? красиво? грустно?

Выше нет предопределения —
мир
к спасению
привести!
...

«Извиняюсь, вы – певец паровозов?»
«Фи, это так архаично...»
Я – трубадур турбогенераторов!»
Что за бред!

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от тех словес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времён:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпужали, как тарангас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно, в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.
И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.
Отчуждённо, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

13

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна откровенность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придёт хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,

лишь только имя Зоёй заменил.

14

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.

Шёл самолёт.
И за ним
На неизменном расстоянии
Летел отставший звук,
Прямоугольный,
Как прицеп на буксире.

Дубна – Одесса, март 1964

БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зелёном
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдёт.
Всё образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста,
официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу – пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдёт
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: «Чайку, молодёжь,
или чего-нибудь подкрепиться?»

Я, проводница, слезами упьюсь,
и в годовщину подобных кочевий.
выпьете, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях».

«Любят – не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире киржацком,

в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьём за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шее.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему, —
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печёнка, отбита...

Ну а пока что – да здравствует бой.
Вам ещё взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

Чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание – молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для неё музыкально касанье,

как для слуха – поёт соловей.

Как живётся вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый,
и по едкому запаху дыма
мы поймём, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1964

БЬЁТ ЖЕНЩИНА

В чьём ресторане, в чьей стране – не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная – бьёт!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что – неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как бельё полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всём передовая,
что на земле давно матриархат, —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать, —
такая мука – непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь – как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Поллитра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой Восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без неё давно бы околели!

Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь,
и по тебе сползаю тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

* * *

В. Шкловскому

Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину,
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру.
Стали пищею хлеб и вода.
Жил, как йог, заклиная картину.
А она падала без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях
проступают следы от гвоздя».

Умер он, измождённый профессией.
Усмехнулась скотина-звезда.

И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.

1964

* * *

«Умирайте вовремя.
Помните регламент...»
Вороны,
вороны
надо мной горланят.

Ходит, как посмешище,
трезвый несказанно,
Есенин неповесившийся
с белыми глазами...

Обещаю вовремя
выполнить завет —
через тыщу
лет!

1964

ЛЕНЬ

Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень.

Лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена.

Рождающийся звук в тебе, как колокольчик,
и диафрагмой моё плечо щекочет.
«Билеты? – скажешь ты. – Пусть пропадают. Лень».

Медлительнейший день в нас переходит в тень.

Лень – двигатель прогресса. Ключ к Диогену – лень.

Я знаю: ты прелестна, всё остальное – тлен.

Вселенная горит? До завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять – заткните под портьеру.

Лень ужинать идти, лень выключить «трень-брень».

Лень.
И лень окончить мысль: сегодня воскресень...

Колхозник на дороге

разлётся подшофе
сатиром козлоногим
босой и в галифе.

1964

МОНОЛОГ РЫБАКА

«Конечно, я не оратор,
подкованный философски,
но
ратую
за тех, кто берёт лосося!
Бывали вы в нашем море,
магнитнейшем из морей?
Оно от лимонных молний
кажется лиловой!

Мотаются мотоботы,
как уголь, горит вода, —
работа!
работа!
Всё прочее – лабуда.

Мы боги, когда работаем,
просвечены до волос,
по борту,
по борту,
как лампы, летит лосось.

Да здравствует же свобода,
нужнейшая из свобод,
работа,
работа —
как праздничный ледоход.

Работа, работа...
И так же не спят с тобой
смородины и самолёты,
гудящие над землёй,
ночные составы в саже
несутся тебе под стать,
в них машинисты всажены —
как нож по рукоять!

И где-то над циклотроном
загадочный, как астроном,

сияя румяной физией,
считая свои дробя,
Вадик Клименко,
физик,

вслушивается в тебя.

Он, как штангист, добродушен,
но Вадика не тревожь —
полёт звездопадов душных,
расчёт городов и рощ
дрожит часовым механизмом
в руке его здоровенной —
не шизики —
а физики
герои нашего времени!..

...А утром, закинув голову,
вам милая шепчет сон,
и поры пронзит иголочками
серебряными
озон...
Ну, впрочем, я заболтался.
ребята ждут на баркасе...»

Он шёл и смеялся шурко.
Дрожал маяк вдалеке —
он вспыхивал, как чешуйка
у полночи на щеке.

1964

* * *

Итальянка с миною «Подумаешь!»...
Чёрт нас познакомил или Бог?
Шрамики у пальцев на подушечках,
скользкие, как шёлковый шнурок.

Детство, обмороженное в Альпах.
Снегопад, всемирный снегопад...
Той войной надрезанные пальцы
на всемирных клавишах кричат.

Жизнь начни по новой, с середины!
Усмехнётся счастье впереди.
И когда прощаешься с мужчиной,
за спину ладони заведи.

Сквозь его подмышки нежно, робко,
белые, как крылья ангелат, —
за спиной ссутуленной Европы —
раненые пальчики болят.

1965

* * *

Айда, пушкинианочка,
по годы, как по ягоды!
На голос, на приманочку,
они пойдут подглядывать,

из-под листочков машучи,
бродяжка и божок.
продуешь, как рюмашку,
серебряный рожок.

И выглянут Парижи
малинкой черепичной,
туманные, капризные
головки красных спичек!

Как ядовито рядом
припрятаны кармины.
До чёрта волчьих ягод,
какими нас кормили.

Всё, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что бессмертны!

Поляны заминированы,
и всё как понарошке.
До чёрта земляники —
но хочется морошки!

1965

ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЁННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На чёрной Вселенной любовниками отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!

Вы, люди,
вы, звери,

пруды, где они зарождались
в Останкине, —

в с т а н ь т е!

Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.
Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы, встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И Вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель – судилище. Мы – арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы, встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих
в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,

Ландау, погибший в бухом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, блядь, из джаз-банда,
вы помните школьные банты?
встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте

(я не о кастратах – о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупичицы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?

Вечная память,
где принц ваш, бабуся?
А девственность
можно хоть в рамку обрмить,
вечная память,
зелёные замыслы, встаньте, как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута – как годы.
Себя промолчали – всё ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.
Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей, как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —
Вечная слава!
Вечная слава!

1965

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины – как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы слушаемся, прислонясь.

Мы – как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Всё становится тайное явным.
Неужели под свистопад,
разомкнёмся немим изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

* * *

Матери сиротеют.
Дети их покидают.

Ты мой ребёнок,
мама,
брошенный мой ребёнок.

1965

БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог, молодая и зяблая:
«Это лётчик Володя
целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!»

*Яблоня ахнула, —
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь*

*негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения
высвобождаясь из тычинок,
пестиков, ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблонеvu от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу!
Ночью нож занесу. Но бессильно стою —
На меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневые глаза!

*Их девятнадцать.
Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.
Они раздвигают кожу, как дупла.
Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —
что? что?
что свершается под корой?
кожу жжёт тебе известь?
кружит тебя кровь?
Дёгтем, дёгтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна.
Чем полна большеглазо – не расскажет она.
Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально.
Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовёт к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснёшься – в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

*По генетике
у меня четвёрка была.
Люди – это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?... Чтобы память нервов мешалась
с хлорофиллами?
Или это биочудо? Где живут био-деревья?
Как женщины пахнут яблоком!..*

...А 30-го ей стало невоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по пояс,
смертельно орёт
и зовёт
удаляющийся самолёт.

1965

* * *

Ты пролётом в моих городах,
ты пролётом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое.
«Приготовьте билеттики». Баста.
Маханём!

Мало времени, чтоб мельтешить.
Перелётны, стонем пронзительно.
Я пролётом в тебе,
моя жизнь!
Мы транзитны.

Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после поймём,
Если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоём.
Остальное – пролётом!

1965

ЗОВ ОЗЕРА

*Памяти жертв фашизма
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...*

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
зывает на славный клёв,
только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу, – говорит Володька, —
а по рылу – могу, —
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живую водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай её ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жезь
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

– Не могу, – говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!

Третью ночь как Костров пьёт.
И ночами зовёт с обрыва.
И к нему
является
рыба —
чудо-юдо озёрных вод!

*«Рыба,
летучая рыба, с гневным лицом мадонны,
с плавниками белыми, как свистят паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь ещё,
с обрывком*

*колючей проволоки или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»*

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.
Изумлённейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Бирман 1941,
Румер 1902,
Бойко, оба 1933.

1965

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

В дни, неслыханно болевые,
быть без сердца – мечта.
Чемпионы лупили навывлет —
ни черта!

Продырявленный, точно решёта,
утишаю ажиотажа:
«Поглязейте в меня, как в решётку, —
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружьё,
где,
привязано нитью болезненной,
бьёшься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
моё?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Всё болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавою —
я от судороги валюсь!

Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее – выносить.

Но ещё невозможней —
вдруг снайпер
срезет
нить!

1965

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ПОЭМЫ

1

«Милая, только выживи, вызволись из озноба,
если возможно – выживи, ежели невозможно —
выживи,
тут бы чудо! – лишь неотложку вызвали...
выживи!..

как я хамил тебе, милая, не покупал миндалю,
милая, если только —
шагу не отступлю...

Если только...»

2

«Милый, прости меня, так послучалось,
просто сегодня
всё безысходное – безысходней,
наипечальнейшее – печальней.

Я поняла – неминуема крышка
в этом колодце,
где любят – не слишком,
крикнешь – не слышно,
ни одна сволочь не отзовется!

Всё окружается сеткой железной.
Милый, ты рядом. Нет, не пускает.
Сердце обрежешь, но не пролезешь.
Сетка узка мне.

Ты невиновен, любимый, пожалуй.
Невиноватые – виноватей.
Бьёмся об сетку немилых кроватей.
Ну хоть пожара бы!

Я понимаю, это не метод.
Непоправимое непоправимо.
Но неужели, чтобы заметили, —
надо, чтоб голову раскроило?!

Меня не ищи. Ты узнаешь от матери,

что я уехала в Алма-Ату.
Со следующей женщиной будь повнимательней.
Не проморгай её, женщину ту...»

3

Открылись раны —
не остановишь, —
но сокровенно
открылось что-то,
свежо и ноюще,
страшней, чем вены.

Уходят чувства,
мужья уходят,
их не удержишь,
уходит чудо,
как в почву воды,
была – и где же?

Мы, как сосуды,
налиты синим,
зелёным, карим,
друг в друга сутью,
что в нас носили,
перетекаем.

Ты станешь синей,
я стану карим,
а мы с тобою
непрерываемо переливаемы
из нас – в другое.

В какие ночи,
какие виды,
чьих астрономниц?
Не остановишь —
остановите! —
не остановишь.

Текут дороги,
как тесто, город,
дома текучи,
и чьи-то уши
текут, как хобот.
А дальше – хуже!
А дальше...

Всё течёт. Всё изменяется.
Одно переходит в другое.
Квадраты расползаются в эллипсы.

Никелированные спинки кроватей
текут, как разварившиеся макароны.
Решётки тюрем свисают,
как кренделя или аксельбанты.
Генри Мур,
краснощёкий английский ваятель,
носился по бильярдному сукну
своих подстриженных газонов.

Как шары, блистали скульптуры,
но они то расплывались, как флюс,
то принимали
изящные очертания тазобедренных
суставов.
«Остановитесь! – вопил Мур. – Вы
прекрасны!..»

Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Чёрный и красный.
Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку
на плоскогубцы, поставленные на попа.
Но – о ужас!
На красной спине угрожающе проступили
чёрные пятна.

Просачивание началось.

Изловчившись, красный крутил ухо
соперника
и сам выл от боли —
это было его собственное ухо.
Оно перетекло к противнику.

Мцхетский замок
сползал
по морщинистой коже плоскогорья,
как мутная слеза
обиды за человечество.

Букашкина выпустили.
Он вернулся было в бухгалтерию,
но не смог её обнаружить,
она, реорганизуясь, принимала новые формы.

Дома он не нашёл спичек.
Спустился ниже этажом.
Одолжить.
В чужой постели колыхалась мадам

Букашкина.
«Ты как здесь?»
«Сама не знаю – наверно, протекла
через потолок».
Вероятно, это было правдой.
Потому что на её разомлевшей коже,
как на разогревшемся асфальте,
отпечаталась чья-то пятерня с перстнем.
И почему-то ступня.

Радуга,
зацепившись за два каких-то гвоздя в небе,
лучезарно повисала,
как ванты Крымского моста.
Вождь племени Игого-жо искал новые формы
перехода от коммунизма к капитализму.

Всё текло вниз, к одному уровню,
уровню моря.
Обезумевший скульптор носился,
лепил,
придавая предметам одному ему понятные
идеальные очертания,
но едва вещи освобождались от его пальцев,
как они возвращались к прежним формам,
подобно тому, как расправляются
грелки
или резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем,
как ферма
по колено в воде.

«Вверх – вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса.
«Вверх – вниз!»
Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх – вниз!»

Фразы бессильны. Словаслиплисьводнуфразу.
Согласные растворились.

Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»

Это уже кричу я.
Меня будят.
Суют под мышку ледяной
градусник.

Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.

P. S.

Мне снится сон. Я погружён
на дно огромной шахты лифта.
Дамоклово,
неумолимо
мне на затылок
мчится
он!

Вокруг кабины бьётся свет,
как из квадратного затмения,
чужие смех и оживленье...
Нет,
я узнаю ваш гул участливый,
герои моего пера,
Букашкин, банщица с ушатом,
пенсионер Нравоучатов,
ах, милые, etc.,

я создал вас, я вас тиранил,
к дурацким вынуждал тирадам,
благодарящая родня
несётся лифтом
на меня,

я в клетке бьюсь, мой голос пуст,
проносится в мозгу истошном,
что я, и правда, бед источник,
пусть!..

Но в миг, когда меня сомнёт,
мне хорошо непостижимо,
что ты сегодня не со мной.
И тем оставлена для жизни.

1965

* * *

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твоё лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом впиваешься в экраны —
украли!
Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живёшь – бежишь под шёпот во дворе:
«Ишь, баба – как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.
И я глазел, болельщик и лопух,
как через страны,
будто в волейбол,
летит к другой лицо твоё и боль!

Подранком, оторвавшимся от стаи,
ты тянешься в актёрские пристанища,
ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка, выжидающая мышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолёта пламя на лету,
горячим полотенцем трёшь со зла,
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерёг.
Он красоты твоей не уберёг.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
наинеправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистной
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалею.
Вот я живу. И это тяжелей.
...

Больничные палаты из дюраля.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
за морем орёт —
ей жгут лицо, глаза твои и рот.

1965

МОНОЛОГ БИОЛОГА

Растут распады
из чувств влекущих.
Вчера мы спаривали
лягушек.

На чёрном пластике
изумрудно
сжимались празднично
два чутких чуда.

Ввожу пинцеты,
вонжу кусачки —
сожмётся крепче
страсть лягушачья.

Как будто пытки
избытком страсти
преображаются
в источник счастья.

Но кульминанта
сломила к спаду —
чтоб вы распались,
так мало надо.

Мои кусачки
теперь источник
их угасания
и мук истошных.

Что раньше радовало,
сближало,
теперь их ранит
и обижает.

Затосковали.
Как сфинксы – варвары —
ушли в скафандры,
вращая фарами.

Закаты мира.
Века. Народы.
Лягухи милые,
мои уроды.

1966

САН-ФРАНЦИСКО – КОЛОМЕНСКОЕ...

Сан-Франциско – это Коломенское.
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный,
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;
испаряются надо мной
перепончатые фронтисписы,
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие
наполняются голубым,
как просвечивающие курильщики
тянут красный тревожный дым.

Это вырезанное из неба
и приколотое к мостам
угрызение за измену
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,
прикурю об огни твои,
сжавши губы на высшем уровне,
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля,
лимузины столпились в ряд,
будто ангелы отлетели,
лишь галоши от них стоят.

Мы – не ангелы. Чёрт акцизный
шлёпнул визу – и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.
Ты, Коломенское,
вздохни...

1966

ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ

В её имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.
Плисецкая – полюс магии.
Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,

закручивает: не отпускает.
Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.
Она гибнет – полпланеты спалит!
Даже тишина её – бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряжённая тишина
между молнией и громовым ударом.
Плисецкая – Цветаева балета.
Её ритм крут, взрывен.

* * *

Жила-была девочка – Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.
Диковатость её с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределённости её. Её кормят манной
кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув рёбрышком,
закатывается под пыльное брюхо буфета.

А её уже мучит дар её – неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»

* * *

Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян её танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой её партии.
Крутая кровь закручивает её. Это
не обычная эоловая фея —

«Другие – с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем – итальяйским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.
Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем – цыган. Цыганом – князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе – я сделала?»

Так любит она.
В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав её ответ зарубежной корреспондентке.
– Что вы ненавидите больше всего?
– Лапшу!
И здесь не только зарёванная обида детства.
Как у художника, у неё всё нешуточное.
Ну да, конечно, самое отвратное —
это лапша,
это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склонённости, антидуховности.
Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:
«Люди должны отстаивать свои
убеждения...
...только силой своего духовного “я».
Не уважает лапшу Майя Плисецкая!
Она мастер.

«Я знаю, что Венера – дело рук,
ремесленник, – я знаю ремесло!»

* * *

Балет рифмуется с полётом.
Есть сверхзвуковые полёты.
Взбешённая энергия мастера – преодоление
рамок тела, когда мускульное движение
переходит в духовное.
Кто-то договорился до излишнего
«технизма»
Плисецкой,
до ухода её в «форму».

Формалисты – те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,
они пыхтят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.
Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.
«Я не принадлежу к тем людям, которые
видят за густыми лаврами успеха девяносто
пять процентов труда и пять процентов
таланта».
Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался
за пять человеко-лет обучить любого
стать поэтом.
А за десять человеко-лет – Пушкин?
Себя он не обучил.

* * *

Мы забыли слова «дар», «гениальность»,
«озарение». Без них искусство – нуль.
Как показали опыты Колмогорова,
не программируется искусство, не выводятся
два чувства поэзии. Таланты
не выращиваются квадратно-гнездовым
способом. Они рождаются. Они – национальные
богатства, как залежи радия, сентябрь
в Сигулде или целебный источник.
Такое чудо, национальное богатство —
линия Плисецкой.
Искусство – всегда преодоление барьеров.
Человек хочет выразить себя иначе,
чем предопределено природой.
Почему люди рвутся в стратосферу? Что,
дел на земле мало?
Преодолевается барьер тяготения. Это
естественное преодоление естества.
Духовный путь человека – выработка,
рождение нового органа чувств, повторяю,
чувства чуда. Это называется искусством.
Начало его в преодолении извечного способа
выражения.
Все ходят вертикально, но нет, человек
стремится к горизонтальному полёту.
Зал стонет, когда летит тридцатиградусный
торс... Стравинский режет глаз
цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух.
Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая
ноздриями, нащупывает цвет клавишами.
Ухо становится органом зрения. Живопись

ищет трёхмерность и движение на статичном холсте.

Танец – не только преодоление тяжести.

Балет – преодоление барьера звука.

Язык – орган звука? Голос? Да нет же; это поют руки и плечи, щебечут пальцы, сообщая нечто высочайше важное, для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение.

Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение, когда произнесённая тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывёт, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая, к пальцам Джульетты. Та принимает этот материализовавшийся звук, как вазу, в ладони, ощупывает пальцами.

Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением.

Мы видим звук. Звук – линия.

Сообщение – фигура.

* * *

Параллель с Цветаевой неслучайна.

Как чувствует Плисецкая стихи!

Помню её в чёрном на кушетке, как бы оттолкнувшуюся от слушателей.

Она сидит вполоборота, склонившись, как царскосельский изгиб с кувшином. Глаза её выключены. Она слушает шей. Модильянистой своей шей, линией позвоночника, кожей слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.

Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей библейские сбросы Севана и Армении, костёр, шашлычный дымок.

Припорхнула к ней как-то посланница элегантного журнала узнать о рации примы.

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох! «Мой пеньюар состоит из одной капли шанели». «Обед балерины — лепесток розы...»

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.

Так отвечают художники и олимпийцы.

«Сижку не жрамши!»

Мошь под стать Маяковскому.

Какая издевательская полемичность.

* * *

Я познакомился с ней в доме Лили Брик, где всё говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского. Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнажённо плескавшихся стеблей. В этот дом приходиться опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство. Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин. Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебёдок! Я её вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан. «Гений чистой красоты» – среди издёрганного, суматошного мира. Красота очищает мир. Отсюда планетарность её славы. Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую. Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну. Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преображает мир, создавая очищающую красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже. Её абрис схож с летящими египетскими контурами. Да и зовут её кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу, – Майя.

* * *

*Что делать страшной красоте,
присевшей на скамью сирени?
Б. Пастернак*

Недоказуем постулат.

Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,

закутана в плиссе-гофре,
в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиренье
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе?

Художник – даже на коленях —
победоноснее, чем все.

Валитесь в ноги красоте.

Обезоруживает гений —
как безоружно карате.

1966

СТРОКИ РОБЕРТУ ЛОУЭЛЛУ

Мир
праху твоему,
прозревший президент!
Я многое пойму,
до ночи просидев.

Кепчоночку сниму
с усталого виска.
Мир, говорю, всему,
чем жизнь ни высока...

Мир храпу твоему,
Великий Океан.
Мир – пахарю в Клину.

Мир,
сан-францисский храм,
чьи этажи, как вздох,
озонны и стройны,
вздыхнут по мне разок,
как лёгкие страны.

Мир
паху твоему,
ночной нью-йоркский парк,
дремучий, как инстинкт,
убийствами пропах,
природно возлежишь
меж каменных ножиц.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему,

земная благодать,
мир праву твоему
меня четвертовать.

История, ты стон
пророков, распинаемых крестами;
они сойдут с крестов,
взовьют еретиков кострами.
Безумствует распад.
Но – всё-таки – виват! —
профессия рождать
древней, чем убивать.

Визжат мальцы рождённые
у повитух в руках,
как трубки телефонные
в притихшие века.

Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пёс,
миляга.
Ты не такса, ты туфля,
мокасин с отставшей подошвой,
который просит каши.

Некто Неизвестный напялил тебя
на левую ногу
и шлепает по паркету.
Иногда Он садится в кресло нога на ногу,
и тогда ты становишься носом вверх,
и всем кажется, что просишь чего-нибудь
со стола.
Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...

Мир неизвестному,
которого нет,
но есть...

Мир, парусник благой, —
Америку открыл.
Я русский мой глагол
Америке открыл.

В ристалищных лесах
проголосил впервые,
срываясь на верхах,
трагическую музыку России.

Не горло – сердце рву.
Америка, ты – ритм.

Мир брату моему,
что путь мой повторит.

Поэт собой, как в колокол,
колотит в свод обид.
Хоть больно, но звенит...

Мой милый Роберт Лоуэлл,
мир Вашему письму,
печальному навзрыд.
Я сутки прореву,
и всё осточертит,
к чему играть в кулак,
(пустой или с начинкой)?
Узнать, каков дурак —
простой или начитанный?

Глядишь в сейчас – оно
давнее, чем давно,
величественно, но
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.
На то ты и поэт,
что, получая тьму,
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настаёт.
Куда в такую темь,
мой бедный самолёт?

Спи, милая,
дыши
всё дольше и ровней.
Да будет мир души
измученной твоей!

Всё меньше городок,
горящий на реке,
как милый ремешок
с часами на руке,

значит, опять ты их забыла снять.

Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,
чтоб не спугнуть дыхания,
заведу
и положу налево, на ощупь,
где должна быть тумбочка...

1966

НЕ ПИШЕТСЯ

Я – в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», – друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшную зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг
хорош костюм, да не по росту,
внутри всё ясно и вокруг —
но не поётся.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелётным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чём, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,

где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967

ЛИВЫ

Л. М.

Островная красота.
Юбки в выгибом, как вилы.
Лики в пятнах от костра —
это ливы.

Ими вылакан бальзам?
Опрокинут стол у липы?
Хватит глупости базлать!
Это – ливы.

Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки.
Это? Ливы?

Гармоничное «и-и»
вместо тезы «или – или».
И шоссе. И соловьи.
Двое встали и ушли.
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок.
лишь бы иволгины игры
осыпали на песок
сосен сдвоенные иглы!

И от хвойных этих дел,
точно буквы на галете,
отпечатается «л»
маленькое на коленке!

Эти буквы солонь.
А когда свистят с обрыва,
это вряд ли соловьи,
это – ливы.

1967

НА ПЛОТАХ

Нас несёт Енисей.
Как плоты над огромной и чёрной водой.
Я – ничей!
Я – не твой, я – не твой, я – не твой!
Ненавижу провал
твоих губ, твои волосы, платье, жильё.
Я плевал
на святое и лживое имя твоё!
Ненавижу за ложь
телеграмм и открыток твоих,
ненавижу, как нож
по ночам ненавидит живых.
Ненавижу твой шёлк,
проливные нейлоны гардин.
Мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня
телефон-автоматной Москвы,
Я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки.
Блещет, словно сазан,
голубая щека рыбака.
«Нет» – слезам.
«Да» – мужским, продублённым рукам.

«Да» – девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«Да» – брандспойтам,
сбивающим горе с меня.

1967

* * *

Нам, как аппендицит,
поудаляли стыд.

Бесстыдство – наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь ставни наших щёк
не просочится свет.
Но по ночам – как шов,
заносит, – спасу нет!

Я думаю, что Бог

в замену глаз и уш
нам дал мембраны щёк
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щёки стыд
с изнанки уютюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум – схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим!

Ложь в рожицах людей,
хоть надевай штаны,
но тыщу раз стыдней,
когда премьер страны
застенчиво замер в ООН
перед тем – как снять ботинок.
«Вот незадача, – размышлял он. – Точно помню, что
вымыл вчера ногу, но какую – левую или правую?»

Далёкий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

солёные, что льёшь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слёз
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И чёрный ручеёк
бежит на телефон
за всё, за всё, что он
имел и не сберёг.

За всё, за всё, за всё,
что было и ушло,
что сбудется ужо
и всё ещё – не всё...

В больнице режиссёр
чернеет с простынёй.
Ладони распростёр.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальной страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха
быть органом стыда.

1967

СТРОКИ

Пёс твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа —
чую Кучума!

Чую кольчугу
сквозь чушь о «военных коммунах»,
чую Кучума,
чую мочу
на жемчужинах луврских фаюмов —
чую Кучума,
пыль над ордою встаёт грибовидным самумом,
люди, очнитесь от ваших возлюбленных юных,
чую Кучума!

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра – вернуться в эпоху скотоводческого

феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться в незнании «измов»?
Неужели Стравинского поволокут по воющим улицам!

Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.

Я думаю – толпа иль единица?
Что длительней – столетье или миг,
который Микеланджело постиг?

Столетье сдохло, а мгновенье длится.
Я думаю...

1967

ОСЕННЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ.
Время рёв испытать.
Развяжи мне язык, как осенние вязы развязываешь
в листопад.

Развяжи мне язык – как снимают ботинок,
чтоб ранимую землю осязать босиком, —
так гигантское небо
эпохи Батыя
сковородку земли,
обжигаясь, берёт языком.

Освежи мне язык, современная Муза.
Водку из холодильника в рот наберя,
напоила щекотно,
морозно и узко!
Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,
оставляя заик,
как у девки отчаянной,
были трубы мои
перевязаны.
Разреши меня словом.
Развяжи мне язык.

Время рёва зверей. Время линьки архаров.
Архаическим рёвом
взрывая кадык,
не латинское «Август», а древнее «Зарев»,
озари мне язык.

*Зарев
заваленных базаров, грузовиков,
зарев разрумяненных от плиты хозяек,
зарев,
когда чащи тяжелы и пузаты,
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,
в предвкушении перемен,
когда звери воют в сладкой тревоге,
зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска
и от костров картофельной ботвы до костров
Батыя,
зарев, когда в левом верхнем углу*

*жемчужно-витиеватой берёзы
замерла белка,
алая, как заглавная буква
Ипатьевской летописи.
Ах, зарев,
дай мне откусить твоего запева!*

Заревает история.
Зарев, тура по сердцухвати.
И в слезах, обернувшись над трупом Сахары;
львы ревут,
как шесты микрофонов,
воздев вертикально с пампушкой хвосты.
Зарев!

Мы лесам соплеменны,
в нас поют перемены.
Что-то в нас назревает.
Человек заревает.

Паутинки летят. Так линияет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обрести – надо крупно расстаться,
зарев,
зарев – значит «прощай!», зарев – значит
«да здравствует завтра!»

Как горячая пакля, на сучках клочья волчьей и пёсьей.
Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом, как боярская шуба
каменными мехами —
развяжи мне язык.

Ах, моё ремесло – самобытное? Нет, самопытное!
Обиваясь о стены, во сне, наяву,
ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам.
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,
революций и рас.
Зарев первой печурки,
красным бликом змеясь...
Запах снега пречистый,
изменяющий нас.

* * *

Человечьи кричит на шоссе
белка, крашенная, как в Вятке, —
алюминиевая уже,
только алые уши и лапки.

1967

ДИАЛОГ

- Итак,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,
свидетель себя и мира в шестидесятые года?
- Да!
- Клянётесь ответить правду в ответ?
- Да.
- Живя на огромной, счастливейшей из планет,
песчиночке моего решета...
- Да.
- ...вы производили свой эксперимент?
- Да.
- Любили вы петь и считали, что музыка – ваша звезда?
- Да.
- Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?
- Нет.
- Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?
И дом с фонарём отражался в пруду, как бубновый валет?
- Нет.
- Всё виски просила без соды и льда?
- Нет, нет, нет!
- Вы жизнь ей вручили. Где ж женщина та?
- Нет.
- Вы всё испытали – монаршая милость, политика, деньги,
нужда,
всё только бы песни увидели свет,
дешёвую славу с такою доплатою вслед?
- Да.
- И всё ж, мой отличник, познания ваши на «2»?
- Да.
- Хотели пустыни – а шли в города,
смирили ль гордыню, став модой газет?
- Нет.
- Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам: «Дай»!
- Нет.
- В стихках всё – вопросы, в них только и есть что вреда,
производительность труда падает, читая сей бред?
- Да.
- И всё же вы верите в некий просвет?
- Да.
- Ну, мальчики, может, ну, девочки, может...

Но сникнут под ношею лет.

Друзья же подались в искусство «дада»?

– Кто – да.

– Всё – белиберда,
в вас нет смысла, поэт!

– Да, если нет.

– Вы дали ли счастье той женщине, для
которой трудились, чей образ воспет?

– Да,
то есть нет.

– Глухарь стихотворный, напяливший джинсы,
поёшь, наступая на горло собственной жизни?

Вернёшься домой – дома стонет беда?

– Да.

– Хотел ли свободы Парижский Конвент?

Преступностью ль стала его правота?

– Да.

– На вашей земле холода, холода,
такие пространства, хоть крикни – всё сходит на нет?...

– Да.

– Вы лбом прошибали из тьмы ворота,
а за воротами – опять темнота?

– Да.

– Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо,
случится беда,

вам жаль ваше тело, ну ладно.

Но маму, но тайну оставшихся лет?

– Да.

– Да?

– Нет.

– Нет.

– Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

Обрыдла мне исповедь,

вы – сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!

Идёте витийствовать? зло поразить? иль простить?

Так в чём же истина? В «да» или в «нет»?

– С п р о с и т ь.

В ответы не втиснуты

судьбы и слёзы.

В вопросе и истина.

Поэты – вопросы.

1967

МОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Я в географии слабак,

но, как на заповедь,

ориентируюсь на знак —

востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,
он одному сейчас – Восток,
другому – Запад.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.
Тебе – пришла, ему – ушла.
Востоко-запад.

Опять Букашкину везёт.
Растёт идейно.
Не понимает, что тот взлёт —
его паденье.

А ты, художник, сам себе
Востоко-запад.
Крути орбиты в серебре,
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья-взлёты —
нерукотворное твори,
жми обороты.

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных.
Работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Солнце за морскую линию
удаляется, дурачась,
своей нижней половиною
вылезая в Гондурасах.

1967

БАР «РЫБАРСКА ХИЖА»

Божидару Божилу

Серебряных несербских рыбин
рубам хищно.
Наш пир тревожен. Сижу, не рыпаюсь
в «Рыбарске хиже».

Ах, Божидар, антенна Божья,
мы – самоеды.
Мы оба тощи. Мы рыбы тоже.
Нам тошно это.

На нас – тельняшки, меридианы —
жгут, как верёвки.
Фигуры наши – как Модильяни —
для сковородки.

Кто по-немецки, кто по-румынски...
Мы ж – ультразвуки.
Кругом отважно чужие мысли
и ультрашуки.

Кто нас услышит? Поймёт? Ответит?
Нас, рыб поющих?
У времени изящны сети
и толсты уши.

Нас любят жёны,
в чулках узорных,
они – русалки.
Ах, сколько сеток
в рыбачьих зонах
мы прокусили!

В банкетах пресных
нас хвалят гости,
мы нежно кротки.
Но наши песни
вонзятся костью
в чужие глотки!

1967

ДРЕВНИЕ СТРОКИ

Р. Щедрину

В воротничке я —
как рассыльный
в кругу кривляк.
Но по ночам я —
пёс России
о двух крылах.

С обрывком галстука на вые,
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь, —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщишь.

В мурло уткнёшься меховое
в репьях, в шипах...
И слёзы общею звездой
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в именуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слёзы слизывал России,
чей светел лик.

1967

НАПОИЛИ

Напоили.
Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?

Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол – отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнёров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдрабадан,
семиклашка.

Её мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз
из передней
и наяривает джаз
как посредник:

«Всё на свете в первый раз,
не сейчас —
так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу,
как образа?

И не флиртуют, не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И, как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

1967

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил – и вот наказание?
Сложишь песню – отпустит,
а дальше – пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твоё дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши – опять одари виною...

1967

СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевелины —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет

твёрдой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детства,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, моё день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь отдельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

1967

* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка – я тебя люблю!
Зверюга – я тебя люблю!
Разлука – я тебя люблю!

Детсад – как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесёт и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмёт, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивёсельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдёт деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И, как ремень с латунной пряжкой,

на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдём – раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю,

Над пнём склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несёшь мне гибель, почтальонша?
Проходя, тебя люблю!

Проходя моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боёв и риска,
чек, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времён
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт»,
и спустилась за перцовкой.

Верьте тёте Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймбондили.
В твисте и нервозности
женщины – вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клёши в моде.

Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых мини —
только в чёлочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Гаечки там подвинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолётов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого сражения.
Пологаю также, что наступил момент
произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда,
соответственно, количество часов в сутках
увеличится, возрастёт производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем петь...»*

*Время остановилось.
Время 00 – как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье,
не слишком ли ты
подзатянулось?*

*Которые всё едят и едят,
вся жизнь которых – как затянувшийся
обеденный перерыв,
которые едят в счёт 1995 года,
вам говорю я:*

«Вы временны».

*Канторские и конвейерные,
чья жизнь – изнурительный
производственный ритм,
вам говорю я:*

«Временно это».

*Которая шьёт-шьёт, а нитка всё не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша
со скоростью 270 км/никогда,
вам говорю я:*

«Увы, и вы временны...»

«До – До – До – До – До – До – До – До» —

он уже продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино
«пусто-один» —

Прекрасное мгновенье,
не слишком ли ты подзатянулось?

Помогите Время
сдвинуть с мёртвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все – второисточники.

На семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно ёкнуло,
а на ней всё вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожмётся?
Если человеческое —
значит, приживётся.

И колёса мощные
время навернёт.
Временных ремонтщиков
вышвырнет в ремонт!

1967

* * *

Сколько свинцового яда влито,
сколько чугунных лжей...
Моё лицо никак не выжмет
штангу
ушей...

1968

ЯЛТИНСКАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сашка Марков, ты – король лаборатории.
Шишка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые
обожающе снижают скоростя.

Кабинет криминалистики – как перечень.
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!
Обвиняемые или потерпевшие,
стонут вещи с отпечатками беды.

Чья вина позапекалась на напильнике?
Группа крови. Заспиртованный урод.
Заявление: «Раскаившись, насильника
на поруки потерпевшая берёт».

И, глядя на эту космографию,
точно дети нос приплюснули во мрак,
под стеклом стола четыре фотографии —
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...

Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся
ситуациям, эпохам, временам, —
обвиняемые или пострадавшие,
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славой,
в наше время для познания нет преград.
Знают правые, что левые творят,
но не ведают, где левые, где правые...

И, глядя в меня глазами потеплевшими,
инстинктивно проклиняемое мной,
обвиняемое или потерпевшее,
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным.
Невменяемой эпохи лабиринт.
Просветление на грани преступления.
Боже правый, Саша Марков, разберись...

1968

РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нём не разводи.
И так в нём такое делается —
боже не приведи!

Не бей человека, птица,
ещё не открыт отстрел,
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое – острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начёсами до бровей, —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗНАЧКИ

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:
«Люди – предки обезьян»,
«Губернатор – лесбиян»,
«Непечатное – в печать!»,
«Запретите запрещать!»

«Бог живёт на улице Пастера, 18. Вход со двора».

Обожаю Гринич Вилидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом,
Ален, выскочи в исподнем!
Бог – ирония сегодня.
Как библейский афоризм
гениальное: «Вались!».

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закиснуть куликами
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,
коллективным Вифлеемом
в мыле давят трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и – во двор:
«Мэйк лав, нот уор!»

Бог – ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули – как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

*Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано
в твоих очах,
мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?...
Ах, осень в осиновых кружочках...*

*Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглёра,
мгновенно замерших в воздухе,
будто жирафа убежала,
а пятна от неё
остались...*

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор»!

1968

ИЮНЬ-68

Лебеди, лебеди, лебеди...
К северу. К северу. К северу!..
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди...
Срезали...

Может, в чужой политике
не понимаю что-то?
Но понимаю залитые
кровью беспомощной щёки!

Баловень телепублики
в траурных лимузинах...
Пулями, пулями, пулями
бешеные полемизируют!..

Помню, качал рассеянно
целой ещё головою,
смахивал на Есенина
падающей копною.

Как у того, играла,
льнула луна на брови...
Думали – для рекламы,
а обернулось – кровью.

Незащищённость вызова
лидеров и артистов,
прямо из телевизоров
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни,
отнятые от сада,
яблоней на балконе
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони —
к дьяволу!..
Яблони небоскрёбов —
разве что для надгробьев.

* * *

Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

1968

ДЕКАБРЬСКИЕ ПАСТБИЩА

М. Сарьяну

Всё как надо – звёздная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.
Её брюхо колосось светом,
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —
короля, короля, короля.
Из икон, как из будок, лаяли —
кобеля, кобеля, кобеля.

А она всё ложилась чаще
на репы и сухой помёт
и обнюхивала сияющий
мессианский чужой живот.

Шли бараны чёрные следом.
Лишь серебряный всё понимал —
передачу велосипеда
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,
передачу его крутя,
думал: «Сын не спас Человечий,
пусть спасёт собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя,
стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.

И от малой той шестерёнки
начиналось удесятерённо
сумасшествие звёзд и блох.
Ибо всё, что живое, – Бог.

«Аполлоны», походы, страны,
ход истории и века,
ионические бараны,
иронические снега.

По снегам, отвечая чайням,

отмечаясь в шофёрских чайных,
ирод Сидоров шёл с мешком
с извиняющимся смешком.

1969

* * *

Лист летящий, лист спешащий
над походочкой моей —
воздух в быстрых отпечатках
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,
что желают? что толкуют?
Ах, лети,
лети,
лети!..

Вот нашла – в такой глуши,
в ясном воздухе души.

1969

УЛИТКИ-ДОМУШНИЦЫ

Уже, наверно, час тому, как
рассвет означит на стене
ряды улиточек-домушниц
с кибиточками на спине.

Магометанские моллюски,
их продвиженье – не иллюзия.
И, как полосочки слюды,
за ними тянутся следы.

Они с катушкой скотча схожи,
как будто некая рука
оклеивает тайным скотчем
дома и судьбы на века.

С какой решительностью тащат —
без них, наверно б, мир зачах —
домов, замужеств, башен тяжесть
на слабых влажных язычках!

Я погружён в магометанство,
секунды протяженьем в год,
где незаметна моментальность
и видно, как гора идёт.

Эпохой, может, и побрезгуют.
Но миллиметра не простят.
Посылки клеят до востребования.

Куда летим? Кто адресат?

1969

ГРИПП «ГОНКОНГ-69»

Гриппозная пора,
как можется тебе?
Гриппозная молва
в жару, в снегу, в беде.

Беспомощна наука.
И с Воробьёвых гор
в ночном такси старуха
бормочет наговор:

«Снега – балахоном».
Бормочет Горгона:
«Гонконг, гоу хоум!
Гонконг, гоу хоум!»

Грипп,
грипп,
грипп,
грипп,
ты – грипп,
я – грипп,
на трёх
могли б...

Грипп... грипп...
Кипи, скипидар,
«Грипп – нет!
Хиппи – да!»

Лили Брик с «Огоньком»
или грипп «Гонконг»?

Грипп,
грипп,
хип-хип,
гип-гип!
«Открой “Стоп-грипп»,
по гроб – «Гран-при»!

Райторг
открыт.
«Нет штор.

Есть грипп».
«Кто крайний за гриппом?»
Грипп, грипп, грипп, грипп, грипп...
«Как звать?»
«Христос!»
«Что дать?»
«Грипп-стоп»...

Одна знакомая лошадь предложила:
«Человек – рассадник эпидемии.
Стоит уничтожить человечество – грипп прекратится...»

По городу гомон:
«Гонконг, гоу хоум!»

Орём Иерихоном:
«Гонконг, гоу хоум!»

Взамен «уха-горла» —
к нам в дом гинеколог.
«Домком? Нету коек».
«Гонконг, гоу хоум!»

Не собирайтесь в сборища.
В театрах сбор горит.
Доказано, что спорящий
распространяет грипп.

Целуются затылками.
Рты марлей позатыканы.
Полгороду
народ
руки не подаёт.

И нет медикаментов.
И процедура вся —
отмерь четыре метра
и совершенствуйся.

Любовник дал ходу.
В альков не загонишь.
Связь по телефону.
«Гонконг,
гоу хоум!»

Любимая моя,
как дни ни тяжелы,
уткнусь
в твои уста,
сухие от жары.

Бегом по уколам.

Жжёт жар геликоном.
По ком звонит колокол?...

«Гонконг, гоу хоум!..»

1969

КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА

Мы – кочевые, мы – кочевые,
мы – очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там – увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,
чужие стены гудят, как храмы,
чужие драмы,
со стен пожаром холсты и схимники...
а ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого,
и, как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,
ещё не выветрившиеся вполне?...

Милая, милая, что с тобой?..
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой, как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны,
людьё, которым любовь опасна!

Вы опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
Об стены треснуть сервиз, съезжая?...

«Не трожь тарелку – она чужая».

1964

ВАЙДАВАЙДАВАЙ **Семидесятые**

СКРЫМТЫМНЫМ

«Скрытымным» – это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
тёмная ухмылочка – скрытымным?

Скрытымным – то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыи...» – с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным – языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» – «Скрытымным...»
Из-за «скрытымныма» закрыли Крым.

Скрытымным – это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводем.
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где её могила? – скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте – рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1970

ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, на ждавши «скорой помощи»,
с силой в лёгкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,
не сestroю, а женою милосердия

душу всю ему до доньшка даёт —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыханья создаёт.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотою.
А везти его до Кировских Ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
Синий взгляд как пробка вылетит из-под
век, и лёгкие вздохнут, как шар летательный.
Преодолевается летальный
исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
Пусть в глазах твоих
мною вдутый небосвод.
Пусть отдашь моё дыхание кому-то
рот – в рот...»

1970

* * *

Бобры должны мочить хвосты.
Они темны и потаённые,
обмакнутые в водоёмы,
как потаённые цветы.

Но распускаются с опаской
два зуба алою печалью,
как лента с шапки партизанской
иль кактусы порасцветали.

1970

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке, —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье, —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады, —
с ума бы не сойти!

Когда отчётливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как чёрные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне, человеку, это!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, – скажу, – или Россия,
назад не отпусти!»

1970

СВИТЯЗЬ

Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро – спасение
тем, кто тоскуют или тонут.

А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.

Наверно, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный, —
всё ожидаешь, что окликнут.

Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —
дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.

1970

СКУПЩИК КРАДЕНОГО

1

Приценись ко мне в упор,
бюрократина.
Ты опаснее, чем вор,

скупщик краденого!

Лоб краплённый полон мыслями,
белый, как Наполеон,
чёлка с круглыми залысинами
липнет трёфовым тузом...

Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей,
как вещевая лотерея:
вещи есть – но шиш получишь!

2

Кражи, шмотки и сапфиры
зашифрованы в цифири:
«4704... моторчик марки “Ява»,
“Волга» (угнанная явно).
Неразборчивая цифра... списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат.

200 000... гора Арарат,
на остальные пятнадцать
номеров подряд
выпадает по кофейной
чашечке с вензелем
отель “Украина»,
печать райфина,
или паникадило
(по желанию),
или четырёхкомнатная
“малина»
на площади Восстания,
или старый “Москвич»
(по желанию).
236-49-45... непожилая,
но крашенная под серебро прядь
поможет Вам украсть
тридцать минут счастья +
кофе в номер
(или пятнадцать рублей денег).
Демпинг!
(Тем же награждаются все последующие
четыре номера.)

№ 14709... Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью “Наследник —
тете».

Инв. № 147015... Библиотечный штамп
лиловый,
золотые буквы сбоку:
«Избранное поэта О-ва»
(где сто двадцать строчек
Блока).

№ 22100... Пока ещё неизвестно что.
№ 48... Манто, кожаное, но
хлоркой сведено пятно.

№ 1968... Судья класса А,
мыло «Москва».

На оставшийся 21-й билет
выпадает 10 лет.

3

Размечтались, как пропеллер, —
воровская лотерея:
«Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные ею
многодетные мужчины,
и ворованная ими
нефть печальных бедуинов,
и ворованные теми
самолёты в Йемене,
и ворованное Время
ваше, читатель, к этой теме,
и ворованные Временем
наши жизни в море бренном,
где ворованы ныряльщиком
бриллианты нереальные,
что украли душу, тело
у бедняжки миссис Тэйлор...»

4

И на голос твой с порога,
мел сметая с потолков,
заглянёт любитель Блока
участковый Уголков,
потоскует синеоко
и уйдёт, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.

Машет в бедной голове
синий махаон с каймою
милицейских галифе.

Чуть застёжка залоснилась,
как у бабочки брюшко.

Что вы, синие, приснились?
Укатают далеко.
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась
и к окошку отвернулась,
молода, худа и сжата,
плоскозада, как лопата
со скользящим желобком, —
закопает вечерком!

(С корешами вчетвером!)

Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда
вежливый, как прокурор,
эксплуатируемый вор.

5

«Хорошо б купить купейный
в детство северной губернии,
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.

Жжёт в узле кожанка краденая.
Очищают дачу в Кратове.
Блюминг вынести – раз плюнуть!
Но кому пристроишь блюминг?...»

По Арбату вьюга дует...
С рацией, как рыболов,
эти мысли пеленгует
участковый Уголков.

1970

ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз
Как слово Бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970

КАБАНЬЯ ОХОТА

Он прёт на тебя, великолепен.
Собак по пути зарезав.
Лупи!
Ну, а ежели не влепишь —
нелепо перезаряжать!

Он чёрен. И он тебя заметил.
Он жмёт по прямой, как глиссера.
Уже между вами десять метров.
Но кровь твоя чётко-весела.

* * *

Очнись – стол как операционный.
Кабанья застольная компанийка
на восемь персон. И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде – ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смиранный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников.
Копытца их нежны, как подснежники.
Кабабушка тянется к ножу.

В углу продавил четыре стула
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,
полны электрической тоски,
коты с окровавленными ртами,

вжимаясь в скамьи и сапоги,
визжат, как точильные круги!

(А кот с головою стрекозы,
порхая капроновыми усами,
висел над столом и, гнусавя,
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поёт.
И чаши торжественные сводят
над нами хозяева болот.

Собратья печальной литургии,
салат, чернобыльник и другие,
ваш хор
меня возвращает вновь к Природе,
оч. хор.,
и зёрна, как кнопки на фаготе,
горят сквозь мочёный помидор.

* * *

Кругом умирали культуры —
садовая, парниковая, Византийская,
кукурузные кудряшки Катулла,
крашеные яйца редиски
(вкрутую),
селёдка, нарезанная, как клавиатура
перламутрового клавесина,
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листьях капусты,
как с рокотовских зеркал,
в жемчужных париках и бюстах
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной
кочанные её плеча,
мечтали умереть от ласки
и пугачёвского меча.

Прощальною позолотой
петергофская нимфа лежала,
как шпрота,
на чёрством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!

И, как гастрономическая вершина,
дрожал на столе

аромат Фета, застывший в кувшинках,
как в гофрированных формочках для желе.
И умирало колдовство
в настойке градусов под сто.

* * *

Пируйте, восьмёрка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная, и плоть.

Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом —
как будто в мерцающих уключинах
плывёт восьмивёсельный паром.

Так вот ты, паромщик Харона,
и Стикса пустынные воды.
Хреново.
Хозяева, алаверды!

* * *

Я пью за страшную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никогда.
Мишени несбывшейся охоты,
рванём за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За пустоту по имени Искусство.
Но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась. Ты вина чужая!
Молчит она. Она не ест, не пьёт.
Лишь на губах поблёскивает лёд.

А это кто? Ты ж меня любила!
Я пью, чтоб в Тебе хватило силы
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор
и вор,

который, провоцируя окрестности,
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили,
разлукою и хвоей задышав.
И слёзы скакали по щетине,
и пили на брудершафт.

* * *

Очнулся я, видимо, в бессмертье.
Мы с ношей тащились по бугру.
Привязанный ногами к длинной жерди,
отдав кишки жестяному ведру,
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили,
кровь свёртывалась в шарики из пыли.

1970

УРОКИ

Из Роберта Лоуэлла

Не уткнуться в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронили,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Тёмные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнётся около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый, – сплыло. Были, были – мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь,

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чьё у загородки лето повторится?
В палец уколвши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?

1970

АВОСЬ!

Поэма

Поэму «Авось» я начал писать в Ванкувере. Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими, где герой наш, «ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ея», о чём откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года.

Сдав билет на самолёт, сломав сетку выступлений, под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лестные страницы о Резанове толстого тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника.

Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала. «Люди оциножали и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом, ели что попало...»

Был апрель. В Сан-Франциско, надев парадный мундир, Резанов пленил Кончу Аргуэльо, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Резанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахини. Так появилась первая монахиня в Калифорнии. За океаном вышло несколько восхищённых монографий о Резанове. У Брета Гарта есть баллада о нём.

Дописывал поэму в Москве.

В нашем ЦГИА хранится рукописный отчёт Резанова, частью опубликованный у Тихменёва (СПб, 1863). Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное. Какова личность, гордыня, словесный жест! «Наконец, являюсь я.

Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим».

Слог каков! «...и наконец погаснет дух к важному и величественному. Словом: мы уподобимся обитому огниву, об который до устали рук стуча, насилу искры добьешься, да и то пустой, которою не зажжешь ничего, но когда был в нём огонь, тогда не пользовались».

Как аввакумовски костит он приобретателей: «Ежели таким бобровыя шапки нахлобучат!»

Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество: «18 июля 1805 г. в самое тож время произвёл я над привезённым с острова Атхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына тождественный пример строгого правосудия, заковав сего преступника в железы...»

Резанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузерштерна. Крузерштерн и Лисянский были под началом у Резанова и ревновали к нему. Они не ладили. в Сан-Франциско наш герой приплыл, уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Давыдова.

Матросы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путём к свободе.

В поэму забрели два флотских офицера. Имена их слегка изменённые. Автор не столь снисходителен к самозабвению и легкомыслию, чтобы изображать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, – недоказуема, хотя и несомненна. Ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувство.

Смерть настигла Резанова в Красноярске 1 марта 1807 года. Кончита не верила

доходившим до неё сведениям о смерти жениха. В 1842 году известный английский путешественник, бывший директор Гудзоновой компании сэр Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели нашего героя. Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет. Поверив в его смерть, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы «Юнона и Авось» не во всём адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 году. Композитор А. Рыбников написал на её сюжет музыку, в которой заворуженно оркестровал историю России, вечную и нынешнюю. В 1981-м опера поставлена М. Захаровым в Театре имени Ленинского комсомола. Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории, труд автора был ненапрасен.

ОПИСАНИЕ

в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра Николая Резанова, доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, их быстрых парусников «Юнона» и «Авось», сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты странствий необычайных.

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Концепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали непременно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечастью зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

*Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву,
17 июня 1806 года
(ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)*

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из России здесь бродить, так сказать, по ножевому острию...»

*Н. Резанов – директорам Русско-Американской компании, 6 ноября
1805 года*

«Теперь надеюсь, что “Авось» наш в мае на воду спущен будет...»

*От Резанова же
15 февраля 1806 года
Секретно*

Вступление

«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овёс.
Трави, Муза, пускай худо,
Но нашу веру зовут «Авось»!

«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше – барщина и фонвизины,
А у нас – весенний девиз «Авось»!

Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звёзд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!

Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».

У нас ноль шансов против тыщи —
крыш-ка!
Но наш ноль – просто красотища,
ведь мы выживали при минус сорока.

Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплыть провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!

Когда же наконец откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «А. Возн».

1. Пролог

В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!
Доченька губернаторская
Спит у русского на плече.

И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
католичество и православье,
вздв крыла, стоят у портьер.
Расшатываются устои.

Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым
пьют и крестятся до утра.

2

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...

Довыдов. О происхожденьи видов?

Хвастов. Да нет...

3. Молитва Кончи Аргуэльо – Богоматери

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-Заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,
что, как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днём – дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как Ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что твой сын издох!..»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну, а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...
Довыдов. Как вздёрнуть немцев и пиитов?
Хвастов. Да нет...

Довыдов. Что деспоты не создают условий для работы?

Хвастов. Да нет...

5. Молитва Резанова – Богородице

«Ну что Тебе надо ещё от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты – музыка сада,
ну что Тебе надо ещё от меня?»

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты тёмн» – учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни Твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмыслёныш и малое чадо...
Ну что Тебе надо уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня,
и вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»

6

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...

Довыдов. О макси-хламидах?

Хвастов. Да нет...

Довыдов. Дистрофично безвластие, а власть катастрофична?

Хвастов. Да нет...

Довыдов. Вы надулись? Что я и крепостник и вольнодумец?

Хвастов. Да нет... О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос?

Довыдов. Мыслю, как и ты, Хвастов, —
давить их, шлюх, без лишних слов.

Хвастов. Глядь! Дева в небе показалась, на облачке.

Довыдов. Показалось...

7. Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороку ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги,
после радужной севрюги
апельсинами в вине

обносили не?

Как лиловый поп в битловке,
под колокола былого,
кольца, тесные с обновки,
с имечком на тыльной стороне, —
нам примерил не?

А Довыдова с Хвастовым,
в зал обеденный с вострогом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не?

А мамаша, удивившись,
будто давленные вишни
на брюссельской простыне,
озадаченной родне, —
предъявила не?

(Лейтенантик Н.
застрелился не?)

А когда вы шли с поклоном,
смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?

Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.

Архивные документы, относящиеся к делу Резанова Н. П.

(Комментируют архивные крысы – игреки и иксы.)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется от вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

(Н. Резанов – Н. Румянцеву)

№ 2. Второе письмо Резанова – И. И. Дмитриеву

Любезный государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настройку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые – старый сифилис.
Начинаются театры с вешалок.

Начинаются царства с виселиц.

Земли новые – tabula rasa.
Расселю там новую расу —
Третий Мир – без деньги и петли,
ни республики, ни короны!

Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при дворе, посодействуй —
на американочке женюсь...

Чин икс

«А вы, Резанов,
Из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвастова

Были петербуржцы – станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном – два костра.
Одного – на небо, другого – в карцер!
После сатисфакции – два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!
Враги вечные на братство венчаны.
И оба – к Резанову, на Дальний Восток...

Чин игрек

«Засечены в подпольных играх».

Чин икс

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 года

Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х..., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно “Юнону», и, сколь скоро купил, то сделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9 1/2 ведра французской водки и 2 1/2 ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров.

Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но, к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 года

Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядами окруженных...»

(Резанов – министру коммерции)

Рапорт

Мы – Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.
Прикажите – в сто стволов
жахнем латинянам!

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

Резанов

«18 октября 1807 года

Когда я взшел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-нибудь смертного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку. Вот картина моего состояния! Вот награда, если не услуг, то, по крайней мере, желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Давыдов»

(Из «Донесения Мичмана Давыдова на квартире, уже под политическим караулом»)

№ 4 В темнице

Довыдов. А что ты думаешь, Хвастов?...

Хвастов. Бухарин! Сука! Враг Христов!
Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!

Довыдов. Тсс... Стражник передаст...

Хвастов. Чмо! Скот! Мы, офицеры, страждем!

Эй, стражник!

Нажрался паразит. Разит.

Стражник. С-ик тран-зит...

Восток алеет. Помолись.

Хвастов (*бледнеет*) . Это мысль.

О, Дева, в ризах, как стеклярус!
Ты, что к Резанову являлась!
(Мы на Тебя интриговали
против американской крали.)
Спаси невинных индивидов!..
(*В ужасе*) Гляди, Довыдов.

Распались цепи. Стража отвалилась.
Дверь отворилась.
И кони у крыльца в кибитке...

Голос. Бегите!
По трассе будущей Турксиба.

Довыдов и Хвастов. Спасибо!
(*Бегут*)
Довыдов. Зер гут.

Религия не лишена основ.
А? Что ты думаешь, Хвастов?

№ 5

Мнение критика зета:

«От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернётся!»

Мнение поэта:

«Перевернётся – значит, оживёт.
Живи, Резанов! “Авось», вперёд!»

№ 6

Чин игрек

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на десять лет
дольше, то, что мы называем Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были
бы русской территорией».

(*Атертон, США*)

Чин икс

Сравним, что говорит наш Головин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий
голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам,
происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головин

Чин икс

«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот иск».

№ 7. Из письма Резанова – Державину

Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:

Мой памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...
Увечный
наш бранный разум цепляется за пирамиды,
статуи, памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше —
но дальше ни черта!

Я – последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цивилизации
культура – позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать её,
а, назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да ещё кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-американо-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные,
сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздёрнули.
Вот это будет тот ещё памятник!»

№ 8

«16 августа 1804 года. Я должен также Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более припятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более, нежели тридцать человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаяние, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Резанова Императору)

Чин иск

«И ты, без женщин забуревший,

на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»

(если глянуть в её окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские,
из поющего хрусталя,
ведёшь влево – поют «Марсельезу»,
ну а вправо – «Храни короля!»,

принесите три самых желания,
что я прятал от жён и друзей,
что угрюмо отдал на заклятие
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий,
в дымке золота, как пыльца,
и, облив самогоном, сожгите
у надменных дверей дворца!

«...они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Концепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что согласие, но с тем, чтоб до разрешения папы было сие тайною».

№ 10

Чин икс

«Есть ещё образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»

«Я представил ей край Российской посуровее, и притом во всем изобильный, она была готова жить в нем...»

№ 11. Резанов – Конче

Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.

Там Храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.

Их ночная вода поила
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомлённые небеса.

Через год мы вернёмся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, папа и твой отец!

8. В Сенате

Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взревновали. Позабыли.
Господи, благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.

9. Молитва Богоматери – Резанову

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Мать от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарождённой
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо Дух —
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаянье!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное

губы в табаке поцеловать!

Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из Марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!..

ЭПИЛОГ

Спите, милые, на шкурках росомаховых.
Он погибнет
в Красноярске
через год.
Она выбросит в пучину мёртвый плод,
станет первой сан-францисскою монахиней.

1970

МАТРОСЫ

В море соли и так до чёрта,
морю не надо слёз.
Наша вера верней расчёта,
нас вывозит «Авось»!

Вместо флейты подыдем флягу,
чтобы смелее жилось
под небесным флагом
и девизом «Авось»!

Нас мало, и нас всё меньше,
и парус пробит насквозь,
но сердца забывчивых женщин
не забудут, авось!

Буря – это всего лишь буря,
глупо в ней ждать конца.
Пуля – дура, конечно, дура,
но умней мудреца.

От нагрузки на наши плечи
гнётся земная ось,
только наш позвоночник крепче —
не согнёмся, авось!

У русалки солёны губы
и вместо ножек – хвост.
Сэкономим на паре туфель.
Не погибнем, авось...

Но от нашей надежды, свойской

сетям пустых судеб,
через век назовут авоськой
сумку, где носят хлеб.

1977

РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «ЮНОНА и АВОСЬ»

Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.
Белую ветку юный любовник
графской жене принёс.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.
Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.
Только известно – графский садовник
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?
Выстрел раздался вдруг.
Красный от крови – красный шиповник
выпал из мёртвых рук.

Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.
Как тебя звали, юноша милый?
Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.
Белый шиповник, дикий шиповник
в память любви цветёт.

1977

КОНЧИТА

Десять лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Хорошо ли приладил седло?
Чтоб в пути тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Двадцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло.
Чтоб в бою тебе было светло,

я свечу оставляю в окне.

Тридцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
У меня отрастает крыло!
Без меня, чтобы было светло,
я оставила свечку в окне.

1977

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
для чего мы на землю попали —
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя их будущим детям.
Наша жизнь пронесётся аллюром.
мы проклятым вопросам ответим:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Я люблю твои руки и речи,
с твоих ног я усталость разую.
В море общем сливаются реки.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Гудзону и Волге!
Государства любовь образует.
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя свирепому нересту!
Аллилуйя бобрам алеутским!
Лишь любовью оправдана ненависть.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Кончите с Резановым.
Исповедуя веру иную,
мы повторим под занавес заповедь:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя актёрам трагедии,
что нам жизнь подарили вторую.
полюбивши нас через столетие.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

1977

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,

проводить, необутая, выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже Всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадёжные карие вишни.
Возвращаться – плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнётся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

* * *

Ну что тебе надо ещё от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо ещё от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» – я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» – не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» – я стал гениален,
ну что тебе надо ещё от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо ещё от меня?

Но и под лопатой спою, не вина:
«Пусть я удобренье для Божьего сада,
ты – музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»

1971

ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще законной,
всё не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зелёная видна,
а в хмурый – медная заметнее.

1971

ЧЁРНЫЕ ВЕРБЛЮДЫ

На мотив Махамбета

Требуются чёрные верблюды,
чёрные, как гири, горбы!
Белые верблюды для нашей работы – слабы.
Женщины нам не любы. Их груди отвлекут от борьбы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
накопленные горбы.

Захлопнутся над черепами,
как щипцы для орехов, гробы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды беды!

Катитесь, чугунные ядра, на жёлтом и голубом.
Восстание как затмение, наедет чёрным горбом.

На белых песках – чиновники, как раздавленные клопы.

Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
разгневанные горбы!

Нынче ночь не для блуда. Мужчины возьмут ножи.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды – нужны.

Чёрные верблюды, чёрные верблюды
по бледным ублюдкам грядут.
На труса не тратьте пулю – плюнет чёрный верблюд!

1971

ХРАМ ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО, ЧТО НА Б. ПОЛЯНКЕ

Название «Неокесарийский»
гончар, по кличке Полубес,
прочёл как «неба косари мы»
и ввёл подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серийный,
и разрыв-травы в изразец.

И слёзы очи засорили,
когда он на небо залез.

«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинял
голубец?»

Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.

Только цвет твой, как анчар,
ядовит...»
С высоты своей гончар
говорит:
«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.
Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.

Нестираема краса —
изразец.
Пососите, небеса,
леденец!

Будет красная Москва
от огня,
будет чёрная Москва,

головня,

будет белая Москва
от снегов – всё повылечит трава
изразцов.
Изумрудина огня!
Лишь не вылечит меня.

Я к жене чужой ходил, луг косил.
В изразцы её кровь замесил».

И, обняв оживший фриз,
белый весь,
с колокольни рухнул
вниз
Полубес!

Когда в полуночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам – не перекосить».

1971

НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ

Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платъица!

Драгоценная потеря,
царственная нищета.
Будто тело запотело,
а не теле – ни черта.

Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало – некуда носить.

Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало – не для кого спеть.

Было нечего терять,
стало – нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не на ты?

Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало – незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить —
стало некого любить.

1971

МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

Их, наверно, тыщи – хрустящих лакомок!
Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой хрустальный благовест.
Так необычаен молчальный звон.

Он не ради славы, молчальный благовест,
просто лущат пищу – отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась —
молчальный звон!..

Этот звон молчальный таков по слуху,
будто сто отшельничающих клестов
ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой – групповые свадьбы.
Есть и не поклонники групповщин.

Групповые драки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жён,
ну а получается
молчальный звон!

В этом клестианстве – антипод свинарни.
Чистят короедов – молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,

но он не умеет —
молчальный звон!

Юркие нью-йоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо, клесты.
Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущён.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —
молчальный звон...

1971

СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Огни Медьни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забился в угол,
не спит с Уссури.
О чём он думает
под шёпот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться,
не спать родителям,
не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плакав, —
на полках спаренных,
как крылья первых

аэропланов.

1971

* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и тёмной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка блестит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами – к добру, по приметам —
следы отольют серебром.

1971

* * *

Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдёт в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют вершушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашёл отпечаток шины
на ванкуверской мостовой

перевёрнутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят, как летучие мыши,
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи,
вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча – как чёрная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.

1971

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не тяжкой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
что вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денёк —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял —
не часто, ну хоть разок —
из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоём,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружён.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и как он.

1971

* * *

Жадным взором василиска

вижу: за бревном, остро,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!

Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.

1971

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справа сидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку – нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трёшницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка – иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой – беда такая! —
чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..

Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро, конечной,
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замёрзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьётся, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971

ВОДНАЯ ЛЫЖНИЦА

В трос вросла, не сняв очки бутылки, —
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила – Боже! – состругала,

наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница – профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обминающею до кишок, —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное – ногами упираться,
чтоб не вылетала на ходу.

«Укради, как раньше, на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надёжен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют дёсны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолётным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный – Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

1971

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклонённая Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в два часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, Шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушёл твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька, когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлёте,
орёт за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шёл закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив, шёл, популярней, чем Пеле,
с беспечной чёлкой на челе,
носил гитару на плече, как пару нимбов.
(Один для матери – большой,
золотенький,
под ним для мальчика – меньшей...)

Володя!..
За этот голос с хрипотцой
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-

нимацию.

Вернули снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам всем сказал: «Вы все – туда,
а я оттудова...»

Гремите, оркестры!
Козыри – крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе.

1971

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Дверь отворите гостье с дороги!
Выйду, открою – стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору – дышат в обтяжку
белые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
тёмные ночи, белые брюки.

Белые брюки, ночные ворюги,
«молния» слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слёзы. Жёлтые дали.
Бедные клёши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в чёрной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?

1971

ОДА ДУБУ

Свитязианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись, лиственно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирной значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские берёзы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, жёлтая, как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,

исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу
великую.
Как Рембрандты, живут по описи
тридцать пять волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

1971

ДВЕ ПЕСНИ

1. Он

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутёмная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо моё смятённое
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца чёрные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
Усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущённые черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встаёт
горестная артиллерия —
ангел чёрный, ангел белая —
перелёт и недолёт!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далёкого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамыны
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
чёрная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важнее твоё «до завтра».
До завтра б досуществовать!

2. Она

Волосы до полу, чёрная масть, —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.

– Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь.

– В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать.

– Я – его первая женщина, вернулся, до ласки охоч,
дочь.

– Он – мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать.

– Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..

....

– Это о смерти его телеграмма,
мама!..

1971

ОБСТАНОВКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.

Вот кресло-катапульта
времён борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю “Беломор» Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
всё, чего нет
(след. перечисление ед).

Тень бабушки – салфетка узорная,
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьёт.)
Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ четырнадцати созданий
с площади Испании.

Уголок забытых вещей!

№ 2,
№ 3,
№ 8-й – никто не признаётся чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено...
Наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, чёрен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности гость,
к несчастью, принимал за трость.)
Вот ванная.
Что-то странное!

Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила:
«Если не придёшь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..

Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...
Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

1972

* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если – как исключенье —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так и во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов Тебя.

1972

* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амбир,
твоя дублёночка с опушкой.

1972

ПЕСНЯ ШУТА

Оставьте меня одного,
оставьте,
люблю это чудо в асфальте,
да не до него!

Я так и не побыл собой,
я выполню через секунду
людскую свою синекуру.
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного;
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек,
но горше всего,

что так доживёшь до седин
под пристальным сплетневым оком
то «вражьих», то «дружеских» блоков...
Как раньше сказали бы – с Богом
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.

Оставьте в чашобе меня.
Они не про вас, эти слёзы,
душа наревётся одна —
до дна! —

где кафельная берёза,
положенная у пня,

омыта сияньем белёсым.
Гляди ж – отыскалась родня!

Я выйду, ослепший, как узник,
и выдам под хохот и вой:
«Душа – совмещённый санузел,
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства,
алмазная ипостась,
омылась душа, опросталась,
чего нахваталась от вас».

1972

БОБРОВЫЙ ПЛАЧ

Я на болотной тропе вечерней
встретил бобра. Он заплакал вхлюп.
Ручкой стоп-крана торчал плачевно
красной эмали передний зуб.

Вставши на ласты, наморщась жалко
(у них чешуйчатые хвосты),
хлещет усатейшая русалка.
Ну пропусти! Ну пропусти!

(Метод нашли, ревуны коварные.
Стоит затронуть их закуток,
выйдут и плачут
перед экскаватором —
экскаваторщик наутёк!

Выйдут семейкой, и лапки сложат,
и заслонят от мотора кров.
«Ваша сила —
а наши слёзы.
Рёв – на рёв!»)

В глазках старенького ребёнка
слёзы стоят на моём пути.
Ты что – уличная колонка?
Ну пропусти, ну пропусти!

Может, рыдал, что вода уходит?
Может, иное молил спасти?
Может быть, мстил за разор угодий!

Слёзы стоят на моём пути.

Что же коленки мои ослабли?
Не останавливали пока
ни телефонные Ярославны,
ни бесноватые слёзы царька.

Или же заводи и речешник
вышли дорогу не уступать,
вынесли плачущий
Образ Пречистый,
чтоб я опомнился, супостат?

Будьте бобры, мои годы и доли,
не для печали, а для борьбы,
встречные плакальщики укора,
будьте бобры,
будьте бобры!

Непреступаемая для поступи,
непреступаемая стезя,
непреступаемая – о Господи! —
непреступаемая слеза...

Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакал —
непроходимый другой в слезах.

1972

ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига, —
чем раскрытые наугад,
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972

ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК

1

Встречая стадо в давешние леты,
мне объяснила бабушка приметы:
«Раз в стаде первой белая корова,
то завтра будет чудная погода».

2

Коровы, пятясь, как аэротрапы,

пасутся, сунув головы в луга.
И подымались плачущие травы
по их прощальным шеям грубым.
И если лидер – светлая корова,
то, значит, будет лётная погода!

Коровьи отношенья с небесами
ещё не удавалось прояснить.
Они, пожалуй, не летают сами,
но понимают небо просинить.
Раз впереди красивая корова,
то утро будет синим, как Аврора.

3

Навоз вниз эскалатором плывёт,
как пассажиры
в метрополитене.
И это лучше, чем наоборот.

Как зубры ненавидят мотоциклы!
Копытные эпохи ледников
несутся за трещоткой малосильной.
Бедуля ненавидит дураков.

4

Ему при Иоанне шапку сдуло,
но не поклон, не хулиганский шик —
Владимира Леонтьича Бедулю
я бы назвал «летающий мужик».

Летит мужик – на собственной конструкции,
летит мужик – по Млечному Пути,
лети, мужик!
Держись за землю, трусы.
Пусть снимут стружку.
Легче ведь. Лети!
А если первой скучная корова,
то, значит, будет скучная погода.

5

Он стенгазеты упразднил, взамен
воздвиг радиостанцию пастушью,
чтоб плыли сообщения воздушные
в дистанции двенадцать деревень.
Над Беловежьем плакала Вселенная.
И нету рифмы на ответный тост.

Но попросил он «Плач по двум поэмам».
А я-то думал, что Бедуля прост.

6

Нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Бедуля ищет правду под землёй.
Глубоко пашет и, припавши, слышит,
как тяжело ей приходится, родной!

Его и славословили, и крыли.
Но поискам – не до шумих.
Бедуля дует на подземных крыльях!
Я говорю: «Летающий мужик».

Все марты поменялись на июли.
Коровы, что ли, балуют, Бедуля?

7

Коровы программируют погоды.
Их перпендикулярные соски
торчат,
на руль Колумбовый похожи.
Им тоже снятся Млечные Пути.

Когда взгрустнут мои аэродромы,
пришли, Бедуля, белую корову!

1972

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру —
выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселёва,
ставшую рыночную обёрткой.

Птица тебя не поймёт и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой – булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя – из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура – де-юре, чудо – де-факто!»

Как ты ждала её, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица – скучная сказка, —
в небо синицу!
Дело отлова – доля мужская,
женская доля – выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолётное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится, выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?...
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

1972

АПЕЛЬСИНЫ

Самого его на бомбе подорвали —
вечный мальчик, террорист, миллионер...
Как доверчиво усы его свисали
точно гусеница-землемер!

Его имя раньше женщина носила.
И ей русский вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,

словно огненный булыжник на полу.

И она глазами тёмными косила.
Отражались и отплясывали в ней
апельсины, апельсины, апельсины,
словно бешеные яблоки коней!..

Рушится уклад семьи спартанской.
Трещат свечи. Пахнет кожура.
Чувство раскрывается спонтанно,
как у постового кобура.

Как смешались в апельсинном дыме
к нему ревность и к тебе любовь!
В чудное мгновенье молодые
жёны превращаются во вдов.

Апельсины, апельсины, апельсины...
На меня, едва я захмелел,
наезжают его чёрные усищи,
словно гусеница-землемер.

1972

* * *

В. Шкловскому

– Мама, кто там сверху, голенаственный —
руки в стороны – и парит?
– Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

1972

* * *

Ты поставила лучшие годы,
я – талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
Развели. Ты – лихой дуэлянт!

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу как актёр,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы – другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

1972

ОДА НА ИЗБРАНИЕ В АКАДЕМИЮ ИСКУССТВ

Я в академики есмь избран.
«Год дэм!» —
скажу я, боже мой,
всю жизнь борюсь
с академизмом.
Теперь борюсь
с самим собой.

1972

СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живёшь ты в художественной мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. – Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И всё не уходишь. А глаз твой агатист.
А гостя почувствовала, примолкла.
И долго ещё твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая – на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, – говорю, – моё небо, – и не по-
нимаю, как с гостьей тебя я мешаю. —
Дай Бог тебе выжить, сестрёнка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

1972

* * *

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя я, —
ведь не только же до звезды —
посвящаемый в эти деревья,

в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви, —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

1972

* * *

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осуждён мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась
с белым голосом в тёмное время.
Даже если земля наша – грязь,
рождество твоё – ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жён
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь – это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достанет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибясь в этой жизни дотла,
улыбнись: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

Всё хорошо пока что.
Лишь беспокоит немного
ламповый, непогашенный
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний
или двойник дурного —
жалостный, электрический
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли
счастливо. Но – в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали.

Проволочкой накалившейся
тем ещё безутешней,
слабый и электрический,
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии,
но что-то тебе мешает.
Жалостный электрический
к белому примешался.

1972

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жандармы у крыльца на воронях.
Только вздрагивал, как белая кувшиночка,
гимназический стоячий воротник.

Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Дурочка, разуй глаза.

«Я готова, – отвечаешь, – это главное».
А когда через столетие пройду,
будто шейки гимназисток обезглавленных,
вздрагнут белые кувшинки на пруду.

1972

МАЛЬВИНА

I

Играю в вист с советскими нудистами.
На пляже не особо талмудистском,
между малиновыми ундинами,

бесстрастными коленками, мудищами
неголые летали короли.

Игра на раздевание. Сдавала
Мальвина, врач из Краснодара,
одетая в бикини незагара.
Они ей были сзади велики.

Мальвина в безразмерные зрачки
в себя вбирала:
денежные знаки,
презренные лежащие одежды, стыд одеяла,
газетные рубахи, брошенные страхи,
комплексы вины
разной длины,
народы в разных позах идеала,
берег с волейбольною сеткою на бёдрах,
меня – как кости в целлофане,
она вбирала сарафаны,
испуги на металлических пуговках,
шорты-пузыри,
себя как бы одевала изнутри,
снаружи оставаясь обнажённой,
а по краям бруснично обожжённой,
Мальвинин муж нудистов раздевал.

2

– Разденемся, товарищи нудисты!
Снимайте страхи и чужие мысли.
Рембо, сбросьте накачанные подплечники.
Вы – без маек,
но прикрываетесь дурацкими лозунгами,
плохо пошитыми надеждами.

Партийные и беспартийные,
оденемся в свободу страсти без!
Юноша, хватайте ферзя противника!
Это не ферзь!

Нудист не может быть влюблён.
Вход в рай нудистам воспрещён.
Вы ренуаровское «ню»
одели в идейную хайню.
Антр ну,
я не могу раздеть жену —
её скрывает покров аристократизма.

– Нудила-мученик, катись ты!..

Мальвина тут произвела отскок

и сбросила свои аристократические замашки.

И сквозь её девический сосок
проклюнулся берёзовый листок.
«Поднимем взятки! – заорал Мальвинин. —
Назавтра обещают ливень».

Навстречу ехал «мерседес» —
приют убогого чухонца.
Чухонец ехал тоже без,
но рефлексировал: «Есть хотца!»

Не видя неконвертируемого финна,
Мальвина
сидела,
обхвативши ноги,
одета, как в невидимую тогу,
в драгоценную тревогу
новой невиданной любви.
Куда там Богу!
О, боги, боги...
Лежали под наколкой короли,
и нет свободной на земле земли.

И страх лежал на пляже,
на рожденье,
и до рожденья в памяти лежал,
и, тело сняв, его мы не разденем.

Мальвинин продолжал...

3

Мальвина, море зевом львиным
болело. В клубе шла «Калина».
Мальвина, чья вина, Мальвина?
«Мосфильма»?

«Мальвина, – он шептал, – Мальвина», —
и всё не непоправимо —
кассета про дворец Амина,
помилуй Бог – и серафимы! —
Мальвина, чья вина —
Совмина?

Такую цену заломила.
Жизнь уместилась в половину.
Мальвина, чья вина, Мальвина?
Минфина?

Мальвинин продолжал:
«Не спорю.
Спустимся к морю.
Хотя оно на карантине».
Мальвина, чья вина, дельфина?

Мы вышли к морю.
Картина.
Солнца диско
стояло низко, как собачья миска.

Все сбрасывали длинные, малиновые по краям тени.
За гномиком,
с видом каноника —
лежала его теневая экономика.

Брюнет с мясами на весу
отбрасывал левую колбасу.

От Ивана Ивановича
шла тень Иосифа Виссарионовича.

Шла тень за всеми, как могла.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

От секретаря обкома
тянулась тень до окоёма.

Но самой длинной
была тень от обалдения Мальвиной.

Все тени шли в направлении страны.

«Отбросим лишнее! – Мальвинин врезал.
Взял ножницы и тени нам отрезал.

И крикнул, запихав их в «дипломат»:
«Колоду! Сматываемся, мать».

Нам было голо, зябко и гадливо.

Радио транслировало Малинина.
Манило сердце к магазину.
Мальвина, чья вина – «Грузвина»?

А там, вдали, за скрывшейся Мальвиной,
вся в Книгу Книг занесена,
одной прикрытая молитвой,
лежит раздетая страна.

Мальвинин нам махал с горы.
Его ждало такси за школой.
Орали в «дипломате» короли:
«Народ-то голый».

5

Всё ливень смысл неумолимо
назавтра, в джинсах пилигримы,
мы шли, не узнавая, мимо.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

1972

* * *

На суде, в раю или в аду
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Всё равно, что скажут, всё равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнёт на чёрный шпингалет.

1972

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днём и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча —
благодарю за священность обряда.
Враг по плечу – долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовёшься греховною силой, —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила, – да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.

Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш чёрен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование – будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь – это точно, любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. Завещание

1

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышку,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
налюбая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда вы мертвы,
забывая, когда вы живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,

отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

2

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партией,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно.

Под Уфой затекает спина,
под Рязанью мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет – сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное – минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени.

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несётся в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки

недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

3

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в неё не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу».

1973–1974

* * *

Стихи не пишутся – случаются,
как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница.
Не написал – случилось так.х

1973

СНАЧАЛА

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолётом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье —
и начал сначала!

Начните с беславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь её пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

1973

ЛЕСНИК ИГРАЕТ

Р. Щедрину

У лесника поселилась залётка.
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою.
Как без воды
рассыхается лодка,
старая скрипка
рассохлась без музыки.

Скрипка висела с ружьями рядом.
Врезалась майка в плеча задубелые.
Правое больше привыкло к прикладам,
и поотвыкло от музыки
левое.

Но он докажет этим мазурикам
перед приезжей с глазами фисташковыми —
левым плечом
упирается в музыку,
будто машину
из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...

Вслед тебе воют волки лесничества...
Майки изогнутая бретелька —
как отпечаток шейки скрипичной.

1973

АИСТЫ

В. Жаку

В гнезде, венчающем берёзу,
стояли аист с аистихою
над чёрным хутором бесхозным
бессмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чашею,
как указанье Вифлеема.
Две шеи выгнуты сладчайше.
Вот так змея стоит над чашею,
став медицинской эмблемой.

Но заколочено на годы
внизу хозяйское гнездовье.
Сруб сгнил. И аист без работы.
Ведь если награждать любовью,
то надо награждать кого-то.

Я думаю, что Белоруссия
семей не возместила всё ещё.
Без них и птицы безоружные.
Вдруг и они без аистёныша?...

Когда-нибудь, дождём накрытая,
здесь путница с пути собьётся,
и от небесного события
под сердцем чудо в ней забьётся.

Своё ощупывая тело,
как будто потеряла спички,
сияя, скажет: «Залетела.
Я принесу вам сына, птички».

1973

ПОХОРОНЫ КИРСАНОВА

Прощайте, Семён Исаакович.
Фьюить!
Уже ни стихом, ни сагою
оттуда не возвратить.

Почётные караулы

у входа в нездешний гул
ждут очереди понуро,
в глазах у них: «Караул!»

Пьерошка в одежде ёлочной,
в ненастиях уцелев,
серебрянейший, как пёрышко,
просиживал в ЦДЛ.

Один, как всегда, без дела,
на деле же – весь из мук,
почти что уже без тела
мучительнейший звук.

Нам виделось Кватроченто,
и как он, искусник, смел...
А было – кровотечение
из горла, когда он пел!

Маэстро великолепный,
а для толпы – фигляр...

Невыплаканная флейта
в красный легла футляр.

1973

ГОВОРИТ МАМА

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»

1973

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски

выдавленным
голубым!

Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савёловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба – чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки вы на темя
Гранд-опера, Гранд-опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свёрнуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы Господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свёрнутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твоё поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь – как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь – всё не уйдёшь...

Выйдешь ли вечером – будто захварываешь, —
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
всё васильки, всё васильки...

Не Игова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973

* * *

Тираны поэтов не понимают, —
когда понимают – тогда убивают.

1973

СЛЕГИ

Милые рощи застенчивой родины
(цвета слезы или нитки суровой)
и перекинутые неловко
вместо мостков горбыльковые продерни,
будто продёрнута в кедах шнуровка!

Где б ни шатался,
кто б ни базарил
о преимуществах ФЭДа над Фетом, —
слёзы ли это?
линзы ли это? —
но расплываются перед глазами

милые рощи дрожащего лета!

1973

* * *

Я не ведаю в женщине той
чёрной речи и чуингама,
ты, возлюбленная, со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А её уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973

РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

*Александр Сергеевич,
Разрешите представиться.
Маяковский!*

Владимир Владимирович, разрешите представиться!
Я занимаюсь биологией стиха.
Есть роли
более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.
Другие, как страусы,
прячут головы, —
отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве
Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы
«Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!»

Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдём —
как бы кто не надеялся! —
мы будем драться за молодняк.

Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ан» и «707-Боинга»...
Мы научили
свистать
пол-России.
Дай одного
соловья-разбойника!..

И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграмку, обкусав заусенцы:
«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ —
ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

1973

ВЕЧЕР В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зелёная, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите – оно плачет?
А вы говорите – цветёт.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьём спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я вам – цвет ореховый,
вы скажете – гул ореха.
Я говорю – зеркало,
вы говорите – эхо.

Вам кажется Паганини

красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
им пудреница покажется
эмалевой панагией.

Вцепились они в музыкальность,
выставив вверх крюки,
как мы на коньках крючками
цеплялись за грузовики.

Пытаться читать стихи
в «Обществе слепых» —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожею
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

В вашем слепом обществе,
всевидящем, как Вишну,
вскричу, добредя ощупью:
«Вижу!» —

зелёное зелёное зелёное
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

1974

СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивлённую смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.

Называлось не кинозал —
просто каждый пришёл и простился.

Называется не экран,
если заертво падают наземь.
Если б Разина он сыграл —
это был бы сегодняшний Разин.

Он сегодняшним дням – как двойник.
Когда зябка курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом – где берёзы и хвойники.
Занавесить бы чёрным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

1974

ОБМЕН

Не до муз этим летом кромешным.
В доме – смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки
летят
с пальтеца,
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца.

И, как эхо их нового адреса,
проводя заплаканный скарб,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы – да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых

и без счастья счастливых людей.

1974

ПЕСНЯ О МЕЙЕРХОЛЬДЕ

А. Шнитке

Где Ваша могила – хотя бы холм, —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд?

Зрители в бушлатах дымят махрой —
ставит Революцию Мейерхольд.

Радость открывающий мореход —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Профильным, провидческим плоск лицом —
сплюснен историческим колесом.

Ставили «Отелло». Реквизит —
на зелёной сцене платок лежит.

Яго ухмыляется под хмельком:
«Снова мерихлюндии, Мейерхольд?!»

Скомканный платочек – от слёз сырой...
Всеволод... Эмильевич... Мейерхольд...

1974

МЕЛОДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича – «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьёт крылами «У» горизонтальное —
и утки унесутся за Онтарио.
В латынь – латунь органная откликнулась,
А хоровые клиросы —
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделось —
как Богоматерь, ждущая младенца.

1974

ОТЦУ

Я – памятник отцу,

Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.
Счета его оплачиваю.
Врагов его казню.
Они с детьми своими
по тыще раз на дню
его повторят имя.
От Волги по Юкон
пусть будет знаменито,
как, цокнув языком,
любил он землянику.
Он для меня как Бог.
По своему подобию
слепил меня, как мог,
и дал свои надбровья.
Он жил мужским трудом,
в свет превращая воду,
считая, что притом
хлеб будет и свобода.
Я памятник отцу,
Андрею Николаевичу,
сам в форме отточу,
сам рядом врую лавочку,
чтоб кто-то век спустя
с сиренью индевеющей
нашёл плиту «б-а»
на старом Новодевичьем.
Согбенная юдоль.
Угрюмое свечение.
Забвенною водой
набух костюм вечерний.
В душе открылась течь.
И утешаться нечем.
Прости меня, отец,
что памятник не вечен.
Я за тобой бежал —
ты помнишь? — по перрону...
но Время — это шар,
скользящий по наклонной.

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу
и жребием своим
вмещаю ипостась,
что не досталась кладбищу, —
Отец — Дух — Сын.

1974

* * *

Теряю свою независимость,

поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали – пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижёра,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными – книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными – души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.

Должны быть бессмертными рукописи,
а думать – кто купит? – Бог упаси!

Хочу низложение просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли отогреться с морозца
и исповеди испить.

1974

МОЛИТВА МАСТЕРА

Из «Дамы трэф»

Благослови, Господь, мои труды.
Я создал Вещь, шатаемый любовью,
не из души и плоти – из судьбы.
Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть
и осеню себя стихом трёхперстным.
Мои труды благослови, Господь!
Через плечо соль брошу на восход.
(Двуперстье же, как держат папироску,
боярыня Морозова взовьёт!)
С побудкою архангельской трубы
не я, пусть Вещь восстанет из трухи.
Благослови, Господь, мои труды.
Твой суд приму – хоть голову руби,
разбей семью – да будет по сему.
Господь, благослови мои труды.
Уходит в люди дочь моя и плоть,
её Тебе я отдаю, как зятю, —
искусства непорочное зачатъе —
пусть позабудет, как меня зовут.
Сын мой и господин её любви,
ревную я к тебе и ненавижу.
Мои труды, Господь, благослови.
Исправь людей. Чтоб не были грубы,
чтоб жемчугов её не затоптали.
Обереги, Господь, мои труды.
А против Бога встанет на дыбы —
убей создателя, не погуби созданья.
Благослови, Господь, Твои труды.

1974

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории —
в искусстве силён, как стряпуха, —
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему всё не ясно,
Стравинский – безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,

стыжусь за пославших её.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самого.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревёт порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим – это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо,
Но всё-таки дух – это главное.
Долой порнографию духа!

1974

* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты – как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи – правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
всё, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоём плече прививку от него.
Я – вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И – больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И – больше ничего.

1975

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю, —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я – другие.
Упаду на поляну – чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,

будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья – подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Всё из пластика – даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты – в прошлом.
В настоящем – рост понимания».

Хлещет чёрная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь – пойдёт настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

* * *

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисул.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
Наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,

хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Всё признаю.

Толпа кликуш
ждёт, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Всё, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

1975

МОНОЛОГ ЧИТАТЕЛЯ

Четырнадцать тысяч пиитов
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах —
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минёры,
скажу в ликование:
«Желаю прослушать Смирновых
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смирновых
захлопают, как орлы
с трёх тыщ этикеток «Минводы»,
пытаясь взлететь со скалы.

И хор, содрогнув батисферы,
сольётся в трёхтысячный стих.
Мне грянут аплодисменты
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно
автографов ждёт у кулис.
Доходит до самоубийств!
Скандирующие сурово
Смирновы, Смирновы, Смирновы
желают на бис.

И снова, как реквием служат,
я выйду в прожекторах,
родившийся, чтобы слушать
среди прирождённых орать.

Заслуги мои небольшие,
сутул и невнятен мой век,
среди тысяч небожителей —
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.
не то, что бывал я пророк,
а что не берёт перепонки,
как раньше гортань не берёт.

«Скажи в меня, женщина, горе,
скажи в меня, счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле,
но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить
невысказанное, заветное...
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,
как Богу, которого нету!»

Я буду любезен народу
не тем, что творил монумент, —
невысказанную ноту
понять и услышать сумел.

1975

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки,
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты – как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло всё голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моём доме!
Поёт прошлое в кирпичках.
Всё гори синим пламенем, кроме, —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,

как сказали бы раньше – греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом —
так бывает пожар и дождь, —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключён,
белым черепом со змеёю
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звёздными своими:
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссёр павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернётся, может, роль,

с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнажённо, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актёрская судьба!
Голая богиня.

1975

МОНОЛОГ РЕЗАНОВА

Божий замысел я искажил,
жизнь сгубив в муравейне.
Значит, в замысле не было сил.
Откровенье – за откровенье.

Остаётся благодарить.
Обвинять Тебя в слабых расчётах,
словно с женщиной счёты сводить —
в этом есть недостойное что-то.

Я мечтал, закусив удила-с,
свесть Америку и Россию.
Авантюра не удалась.
За попытку – спасибо.

Свёл я американский расчёт
и российскую грустную удаль.
Может, в будущем кто-то придёт.
Будь с поэтом помягче, сударь.

Бьёт двенадцать годов, как часов,
над моей терпеливою нацией.
Есть апостольское число,
для России оно – двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год —
даст ненастья иль крах династий?
Будет петь и рыдать народ.
И ещё, и ещё двенадцать.

Ясновидец это число
через век назовёт поэмой,
потеряв именьё своё.
Откровенье – за откровенье.

В том спасибо, что в Божий наш час
в ясном Болдине или в Равенне,
нам являясь, ты требуешь с нас
откровенье за откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес
жить хочу и писать откровенно,
чтоб от месс, как от горних небес,
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок,
может, тем, что, упав на колени,
в Твоей дочери я зажёлг
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел Твой,
и в рубашке, как тени Евангеля,
руки вытянув перед собой,
шла, шатаясь, в потёмках в ванную.

Свет был животворящий такой,
аж звезда за окном окривела.
Этим я расквитался с Тобой.
Откровенье – за откровенье.

1975

ПИР

Человек явился в лес,
всем принёс деликатес:

лягушонку
дал сгущёнку,

дал ежу —
что – не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.

Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.
Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.
Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опылённых ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печёнках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты – вредный, скучный:
если хочешь – ты нас скушай».

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

1975

НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,

он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый – но как раз!),

сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок не одну,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался, как рыцарь,
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Чёрный космос натянул,
крепко звёзды застегнул,
Млечный Путь – через плечо,
сверху – кое-что ещё...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.
(Где-то тикают они
позабытые, одни?...)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без времени – ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

1975

* * *

Четырежды и пятериком
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей, своих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобождённо
в невытопанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идём.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоём.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

1975

* * *

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

1975

* * *

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нём не чувствуют былого волшебства,
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»

1975

* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
постольку они честны.

«Нет пороков в своём отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моём отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь,
он – истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975

* * *

Друг мой, мы зажились. Бывает.
Благодать.
Раз поэтов не убивают,
значит, некого убивать.

1975

ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сизжу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают, как ветряки.

Свет не может быть купленным

или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашёл тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут моё хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60 процентов из химикалиев,
на 40 процентов из лжи и ржи...
Но на 1 процент из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут моё хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжёт мои лёгкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

ЭРМИТАЖНЫЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело,
сжатый, как скрепка писчебумажная,
что впрессовал в тебя чувственный старец?
Тексты истлели, скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде склепа,
будто два мрака, сплетённые слепо,
дух запредельный и плотская малость
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный создатель,
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрепочка Божья!

1975

МОЛИТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж Ты меня отдал толпе?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?

1975

МЕМОРИАЛ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Мой Микеланджело

Кинжальная строка Микеланджело...
Моё отношение к творцу Сикстинской капеллы
отнюдь не было платоническим.
В рисовальном зале Архитектурного института
мне досталась голова Давида. Это самая трудная
из моделей. Глаз и грифель следовали за её
непостижимыми линиями. Было невероятно
трудно перевести на язык графики, перевести
в плоскость двухмерного листа, приколотого
к подрамнику, трёхмерную – а вернее,
четырёхмерную форму образца!
Линии ускользали, как намыленные. Моя досада
и ненависть к гипсу равнялись, наверное, лишь
ненависти к нему Браманте или Леонардо.
Но чем непостижимей была тайна мастерства,
тем сильнее ощущалось её притяжение,
магнетизм силового поля.
С тех пор началось. Я на недели уткнулся
в архивные фолианты Вазари, я копировал
рисунки, где взгляд и линия мастера, как штопор,
ввинчиваются в глубь бурлящих торсов
натурщиков. Во сне надо мною дымился
вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.
Сладостная агония над надгробием Медичи
подымалась, прихлопнутая, как пружиной
крысоловки, валютообразной пружиной фронтона.

* * *

Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтон моего курсового проекта музыкального павильона. То была странная и наивная пора нашей архитектуры. Флорентийский Ренессанс был нашей Меккой. Классические колонны, кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов слагались в причудливые комбинации наших проектов. Мой автозавод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрессорный цех имел завершение капеллы Пацци.

Не обходилось без курьёзов. Все знают дом Жолтовского с изящной лукавой башенкой напротив серого высотного Голиафа. Но не все замечают его карниз. Говорили, что старый маэстро на одном и том же эскизе набросал сразу два варианта карниза: один – каменный, другой – той же высоты, но с сильными деревянными консолями. Конечно, оба карниза были процитированы из ренессансных палаццо. Верные ученики восхищённо перенесли оба карниза на Смоленское здание. Так, согласно легенде, на Садовом кольце появился дом с двумя карнизами.

Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с флорентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 скалькированных деталей, и он не был в этом чемпионом.

Когда я попал во Флоренцию, я, как родных, узнавал перерисованные мною тысячи раз палаццо. Я мог с закрытыми глазами находить их на улицах и узнавать милые рустованные чудища моей юности. Следы наводнения только подчёркивали это ощущение.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, как величайшую ценность подарила мне фоторепродукцию фрагмента «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшем моём углу в родительской квартире.

И вот сейчас моё юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратилось в строки переводимых мною стихов.

* * *

Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным. Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. Недавно нашумела выставка живописи Анри Мишо. И наоборот – один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо и Микеланджело.

Последний наизусть знал «Божественную Комедию». Данте был его духовным крёстным. У Мандельштама в «Разговоре о Данте» мы читаем: «Я сравниваю, значит, я живу» – мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания – а где взять другое? — только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

* * *

Но метафора Данте говорила не только с Богом. В век лукавый и опасный она таила в себе политический заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. Скульптор в споре с Донато Джонатти говорит о Бруте и его местоположении в иерархии дантовского ада. Блеснул кинжал в знаменитом антипапском сонете. Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мраморный дуб. Интонационным вздохом «Господи» («Синьор» по-итальянски) автор отводит прямые указания на адресат. Лукавая злободневность, достойная Данте. Данте провёл двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно приговорён к сожжению. Были ли чёрные гвельфы, его мучители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их помним лишь потому, что они имели отношение к Данте. Повредили ли Данте преследования? И это неизвестно. Может быть, тогда не было бы «Божественной комедии».

Обращение к Данте традиционно у итальянцев. Но Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою судьбу, свою тоску по родине, своё самоизгнание из родной Флоренции. Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прикованный к папским гробницам, — кандалный Микеланджело.

* * *

Менялась эпоха, республиканские идеалы Микеланджело были обречены ходом исторических событий. Но оказалось, что исторически обречены были события.

А Микеланджело остался.
В нём, корчась, рождалось барокко. В нём
умирал Ренессанс. Мы чувствуем томительные
извивы маньеризма – в предсмертной его
«Пьете Рондонини», похожей на стебли
болотных лилий, предсмертное цветение
красоты.

А вот описание магического Исполина:

*Ему не нужен поводырь.
Из пятки, жёлтой, как желток,
напившись гневом, как волдырь,
горел единственный зрачок!*

Далее следуют отпрыски этого Циклопа:

*Их члены на манер плюща
нас обвивают, трепеща...*

Вот вам ростки сюрреализма. Сальвадор Дали мог
позавидовать этой хищной, фантастичной точности!

Не только Петрарка, не только неоплатонизм
были поводьями Микеланджело в поэзии.
Мощный дух Савонаролы, проповедника,
которого он слушал в дни молодости, —
ключ к его сонетам: таков его разговор с Богом.
Безнравственные люди поучали его
нравственности.

Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму
пуп, явно нелогичный для первого человека,
слепленного из глины. Недруг его
Пьетро Аретино доносил на его «лютеранство»
и «низкую связь» с Томмазо Кавальери.
Говорили, что он убил натурщика, чтобы
наблюдать агонию, предшествовавшую
смерти Христа.

Как это похоже на слух, согласно которому
Державин повесил пугачёвца, чтобы наблюдать
предсмертные корчи. Как Пушкин ужаснулся
этому слуху!

Неслучайно в «Страшном суде» святой
Варфоломей держит в руках содранную кожу,
которая – автопортрет Микеланджело. Святой
Варфоломей подозрительно похож
на влиятельного Аретино.

* * *

Галантный Микеланджело любовных сонетов,
куртизирующий болонскую прелестницу.
Но под рукой скульптора постпетрарковские штампы

типа «Я врезал Твой лик в моё сердце»
становятся материальными, он говорит о своей
практике живописца и скульптора. Я пытался
подчеркнуть именно «художническое»
видение поэта.

Маниакальный фанатик резца 78-го сонета
(в нашем цикле названного «Творчество»)
В том же 1550 году в такт его сердечной мышце
стучали молотки создателей
Василия Блаженного.

* * *

Меланжевый Микеланджело.
Примелькавшийся Микеланджело
целлофанированных открыток, общего вкуса,
отполированный взглядами, скоростным
конвейером туристов, лаковые «сикстинки»,
шары для кроватей, брелоки для ключей —
никелированный Микеланджело.

* * *

Смеркающийся Микеланджело —
ужаснувшийся встречей со смертью,
в раскаянии и тоске проывший свой
знаменитый сонет «Кончину чую...»:
«Увы! Увы! Я предан незаметно
промчавшимися днями.
Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня,
который бы принадлежал мне! Обманчивые
надежды и тщеславные желания мешали мне
узреть истину, теперь я понял это... Сколько
было слёз, муки, сколько вздохов любви, ибо
ни одна человеческая страсть не осталась мне
чуждой.
Увы! Увы! Я брежу, сам не зная куда, и мне
страшно...» (Из письма Микеланджело.)
Когда не спасала скульптура и живопись, мастер
обращался к поэзии.
На русском стихи его известны в достоверных
переводах А. Эфроса, тончайшего эрудита
и ценителя Ренессанса. Эта задача достойно
им завершена.
Моё переложение имело иное направление.

Повторяю, я пытался найти черты стихотворного
тропа, общие с микеланджеловской пластикой.
В текстах порой открывались цитаты из
«Страшного суда» и незавершённых «Гигантов».
Дух создателя был един и в пластике,
и в слове – чувствовалось физическое

сопротивление материала, савонароловский
своенравный напор и счёт к мирозданию.
Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать
не букву, а направление силового потока, поле
духовной энергии мастера.

* * *

Идею перевести микеланджеловские сонеты
мне подал в прошлом голу покойный
Дмитрий Дмитриевич Шостакович Великий.
Композитор только что написал тогда музыку
к эфросовским текстам, но они его не во всём
удовлетворяли. Работа увлекла меня, но
к готовой музыке новые стихи, конечно,
не могли подойти.
После их опубликования итальянское
телевидение предложило мне рассказать
о русском Микеланджело и почитать стихи
на фоне «Скрюченного мальчика» из Эрмитажа.
«Скрюченный мальчик» – единственный
подлинник Микеланджело в России – маленький
демон смерти, неоконченная фигурка
для капеллы Медичи.
Мысленный каркас его действительно похож
в профиль на гнутую напряжённую
металлическую скрепку, где силы Смерти
и Жизни томительно стремятся и разогнуться
и сжаться.

* * *

Через три месяца в Риме
Ренато Гуттузо, сам схожий с изображениями
сивилл, показывал мне в мастерской своей
серию работ, посвящённых Микеланджело.
Это были якобы копии микеланджеловских
вещей – и «Сикстины» и «Паолино» – вариации
на темы мастера. Шестнадцатый век пересказан
веком двадцатым, переписан сегодняшним
почерком. Этот же метод я пытался применить
в переводах.
Я пользовался первым научным изданием
1863 года с комментариями профессора
Чезаре Гуасти и сердечно благодарен
Г. Брейтбурду за его любезную помощь.
Тот же Мандельштам говорил, что в итальянских
стихах рифмуется всё со всем. Переводить их
адски сложно. Например, мадригал,
организованный рефреном:
O Dio, o Dio, o Dio!
Первое попавшееся: «О Боже, о Боже,

о Боже!» – явно не годится из-за сентиментальной интонации русского текста.

При восторженном настрое подлинника могло бы лечь:

О диво, о диво, о диво!

Заманчиво было, опираясь на католический культ Мадонны, перевести:

О Дева, о Дева, о Дева!

Увы, это не подходило. В строфах идёт ощущаемое почти физическое преодоление материала, ритм с одышкой. Поэтому следует поставить тяжеловесное слово «Создатель, Создатель!» с опорно-направляющей согласной «д». Ведь идёт обращение Мастера к Мастеру, счёт претензий их внутрицехового порядка.

* * *

Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без влияния иронической музыки популярного тогда Франческо Верни. Нарочитая грубость, саркастическая бравада и чёрный юмор автора, вульгарности, частично смягчённые в русском изложении, прикрывают, как это часто бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед смертью.

Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгарным»? Едва ли!

Для него, анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря с камнями и т. д., как и для хирурга, – категории не эстетические или этические, а материя, где всё чисто.

«Цветы земли не знают грязи».

Точно так же для архитектора понятие санузла – обычный вопрос строительной практики, как расчёт марша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с мещанской благопристойностью умолчания об этих вопросах.

Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому я ввёл некоторые термины из нашего обихода. Кроме того, в этом отрывке я отступил от русской традиции переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хотелось услышать, как звучало всё это для уха современника.

Понятно, не всё в моём переложении является

буквальным слепком. Но вспомним Пастернака,
лучшего нашего мастера перевода:

*Поэзия, не поступайся ширью,
храни живую точность, точность тайн,
не занимайся точками в пунктире
и зёрен в мере хлеба не считай!*

Сам Микеланджело явил нам пример перевода
одного вида искусства в другой.
Скрижальная строка Микеланджело.

ИСТИНА

Я удивляюсь, Господи, Тебе,
Поистине – «кто может, тот не хочет».
Тебе милы, кто добродетель корчит.
А я не умещаюсь в их толпе.

Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.
Так связан с солнцем на рассвете кочет.
Дурак над моим подвигом хохочет.
И небеса оставили в беде.

За истину борюсь я без забрала,
Деяний я хочу, а не словес.
Тебе ж милее льстец или доносчик.
Как небо на дела мои плевало,

Так я плюю на милости небес.
Сухое дерево не плодоносит.

ЛЮБОВЬ

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую?
Вдруг я придумал красоту твою?

Но почему ж к друзьям тебя ревную?
И к мрамору ревную, и к углю?
Вдвойне люблю – когда тебя леплю,
Втройне – когда я точно зарифмую.

Я истинную вижу красоту,
Я вижу то, что существует в жизни,
Чего не замечает большинство.
Я целюсь, как охотник, на лету.

Ухвачено художнической призмой,

Божественное станет божество!

УТРО

Уста твои встречаются с цветами,
Когда ты их вплетаешь в волоса.
Ты их ласкаешь, стебли вороша.
Как я ревную к вашему свиданью!
И грудь твою, затаенная тканью,
Волнуется, свята и хороша.
И кисея коснётся щёк, шурша.
Как я ревную к каждому касанью!
Напоминая чувственные сны,
Сжимает стан твой лента поясная
И обладает талией твоей.
Нежней объятий в жизни я не знаю...
Но руки мои в тыщу раз нежней!

ГНЕВ

Здесь с копьями кресты святые сходны,
Кровь Господа здесь продают в розлив,
Благие чаши в шлемы превратив,
Кончается терпение Господне.
Когда б на землю Он сошёл сегодня,
Его бы окровавили, схватив,
Содрали б кожу с плеч его святых
И продали бы в первой подворотне.
Мне не нужны подачки лицемера,
Творцу преуспевать не надлежит.
У новой эры – новые химеры.
За будущее чувствую я стыд:
Иная, может быть, святая вера
Опять всего святого нас лишит!
Конец.

Ваш Микеланджело в Туретчине

К ДАНТЕ

Единственный живой среди неживых.
Свидетелем он Рая стал и Ада.
Обитель справедливую Расплаты
Он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
Над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды,
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
Ее понят был. Я говорю о Данте.)

Он флорентийской банде был смешон.
Непониманье гения – закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осуждён.

ЕЩЁ О ДАНТЕ

Звезде его все словеса – как дым.
Похвал, достойных Данте, так немного.
Мы не примкнём к хвалебному потоку.
Хулителей его мы пригвоздим!
Прошёл он двери Ада, невредим,
Пред Данте открывались двери Бога.
Но люди, рассуждавшие убого,
Дверь родины захлопнули пред ним.
О родина, была ты близорука,
Когда казнила лучших сыновей,
Себе готовя худшую из казней.
Всегда ужасна с родиной разлука.
Но не было изгнания подлея,
Как песнопевца не было прекрасней!

ТВОРЧЕСТВО

Когда я созидаю на века,
подняв рукой камнедробильный молот,
то молот об одном лишь счастье молит,
чтобы моя не дрогнула рука.
Так молот Господа наверняка
мир создавал при взмахе гневных молний.
В гармонию им хаос перемолот.
Он праотец земного молотка.
Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
становится скульптурой и дворцом.
Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою.
Я – молот, направляемый Творцом.

ДЖОВАННИ СТРОЦЦИ НА «НОЧЬ» БУОНАРРОТИ

Фигуру «Ночь» в мемориале сна
из камня высек Ангел, или Анжело.
Она жива, верней – уснула заживо.
Окликни – и пробудится Она.

ОТВЕТ БУОНАРРОТИ

Блаженство – спать, не ведать злобы дня,
не ведать свары вашей и постыдства,
в неведении каменном забыться...
Прохожий! Тсс... Не пробуждай меня.

ЭПИТАФИИ

1

Я счастлив, что я умер молодым.
Земные муки – хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила
И сделалась бессмертием моим.

2

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи дум в моей душе вмещались.
Одна на них погасла – что за малость?!
Я в тысячах оставшихся живу.

МАДРИГАЛ

Я пуст, я стандартен. Себя я утратил.
Создатель, Создатель, Создатель,
Ты дух мой похитил,
Пустынна обитель.
Стучу по груди пустотелой, как дятел:
Создатель, Создатель, Создатель!
Как на сердце пусто
От страсти бесстыжей,
Я вижу Искусством,
А сердцем не вижу.
Где я обнаружу
Пропавшую душу?
Наверно, вся выкипела наружу.

СМЕРТЬ

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовёт отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
Средь ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И истина сегодня – гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдёт, Господь, что Ты посеял?

Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975

ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу – об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно на дворе человеческого шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бородёнка – как щётка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил моё левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется fuga пленённого духа.

Где синие очи? Пovýцвели буркалы.
Но если серьёзно – я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешёв парадокс, но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслаждение в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелёк мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат обёрткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколениям взвивал свой треножник?!
Всё прах и тщета. В нищете околею.

Таков твой итог, досточтимый художник.

1975

* * *

Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.

Всё – конечно, и ты – конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

1976

* * *

Как хорошо найти
цветы «ни от кого»!
Всю ночь с тобой на ты
фиалок алкоголь.

Ничьи леса и гать
вздохнули далеко.
Как сладостно слагать
стихи ни для кого!

1977

ПЬЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах

стоком осквернённого пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977

УЕЗДНАЯ ХРОНИКА

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы – пузыри асфальта —
нам попадаясь, клянчили на банку.

– Ты помнишь Анечку-официантку?

Я помнил. Удивлённая лазурь
её меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
её бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна
такую тёмно-золотою силой,
что женщины при приближенье Аньки
мужей хватали, как при крике «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, встрепенувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).

Спешила вечно к сыну. Сын однажды
её встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белёсый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».

– Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась.

Так вот куда ты, милая, спешила!
– Он бил её в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенёр, —

у друга на ветру блеснули зубы. —
Её ассенизаторы нашли.
Её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир...

Она летела над ночной землёй.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он, — кричала, — я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
и безнадёжно отжимала жижу.

И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!

— Её пришёл весь город хоронить.
Гадали — кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил.
Сказал я другу: — Это ты убил.

Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.

Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок ничто? тычиночка тоски?
приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовёшь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчёта нет,
ты вряд ли помнишь 30–40 лет,
субстанцию людей провинциальных
и на кольце свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти
и на мгновение оцепеневаешь,
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветер судеб, судебный ветер.

1977

СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты – моя лучшая в мире свеча.

Спички потряхиваю, бренча.

Как ты пылаешь великолепно
волей Создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребёнка?

Грех работёнка, а не барыш.

Разве сжигал своих детищ Конёнков?

Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.

Где-то у коек чужих и афиш

стройно вздохнут твои краткие сёстры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!

Вёсны кадили. Капало с крыш.

Кружится разум. Это от чада.

Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.

Белый фитиль незажжённых светил.

Тёмное время – вечная вера.

Краткое тело – чёрный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю

за кратковременность бытия,

пламя пронзающее без пощады

по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо

мною лицо твое и жильё,

если ты верно назвал своё имя,

значит, сгораю по имя Твоё».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,

скутер найму, умоваю отсюда,

свеч наштампую голый столбняк.

Кашляет ворон ручной от простуды.

Жизнь убывает, наверное, так,

как сообщающиеся сосуды,

вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,

тёмный нагар на реснице набряк.

1977

ГИБЕЛЬ ОЛЕНЯ

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями —
комар на комаре.
Оставьте кровь во мне – колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосёт через товарища,
комар на комаре.
Спаси меня, якут! Я донор миллионов.
Как я не придавал значения муре!
В июльском мареве малинового звона
комар на комаре.
Я тыщи их давил, но гнус бессмертен, лютый.
Я слышу через сон – покинувши меня,
над тундрой звеня, летит, налившись клюквой,
кровиночка моя.
Она гудит в ночи трассирующей каплей
от порта Анадырь до Карских островов.
Открою рот завывать – вцепилась в глотку
кляпом
орава комаров.

1977

* * *

Нас посещает в срок —
уже не отшучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела.
Идёт какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень —
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть
ведёт болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть
под графоманство чувств.

1977

СОБЛАЗН

Человек – не в разгадке плазмы,

а в загадке соблазна.

Кто ушёл соблазнённый за реки,
так, что мир до сих пор в слезах, —
сбросив избы, как телогрейки,
с паклей, вырванною в пазах?

Почему тебя областная
неказистая колея
не познанием соблазняя,
а непознанным увела?

Почему душа ночевала
с рошей, ждущею топора,
что дрожит, как в опочивальне
у возлюбленной зеркала?

Соблазнённый землёй нелёгкой,
что нельзя назвать образцом,
я тебе не отвечу логикой,
просто выдохну: соблазнён.

Я Великую Грязь облазил,
и блатных, и святую чернь,
их подсвечивала алмазно
соблазнительница-речь.

Почему же меня прельщают
музы веры и лебеды,
у которых мрак за плечами
и ещё черней – впереди?

Почему, побеждая разум, —
гибель слаще, чем барыши, —
Соблазнитель крестообразно
дал соблазн спасенья души?

Почему он в тоске тернистой
отвернулся от тех, кто любил,
чтоб распятого жест материнский
их собой, как детей, заслонил?

Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась, —
соболезнуй несоблазнённым.
Человека создал соблазн.

1977

Е. W.

Как заклинание псалма,

безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:
«Wobulimans» – «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло оснадцать лет,
у нашей дочери – роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнёт трфовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнётся пистолет.
Вобюлиманс – С нами любовь.

Но жизнь идёт наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И всё Россия не поймёт:
С нами любовь – Вобюлиманс.

1977

КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что чёрный том её агатовый
куда дороже, чем агат.

И многие не потому ли —
как к отпущению грехов —
стоят в почётном карауле
за томиком её стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Всё реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Всё монолитней в магазинах
сплошной Массивий Муравлёв.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.

Она за книгами стоит.

Страна желает первородства.
И может, в этом добрый знак —
Ахматова не продаётся,
не продаётся Пастернак.

1977

* * *

Когда звоню из городов далёких, —
Господь меня простит, да совесть не простит, —
я к трубке припаду – услышу хрипы в лёгких,
за горло схватит стыд.

На цыпочках живёшь. На цыпочках болеешь,
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.
И чёрный потолок прессует, как Малевич,
и некому воды подать.

Токою, как глухарь, по городам торгую,
толкуют пошляки.
Ударят по щеке – подставила другую.
Да третьей нет щеки.

1977

* * *

Когда написал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
«Поэзия выше нравственности»,
читается – «выше вашей»!

И Блок в гробовой рубахе
уже стоял у порога
в ирреальную иерархию,
где Бог – в предвкушении Бога.

Тот Бог, которого чувствуем
мы нашей людской вселенной,
пред Богом иным в предчувствии
становится на колени.

Как мало меж званых избранных,
и нравственно, и душевно,
как мало меж избранных искренних,
а в искренних – предвкушенья!

Работающий затворником,
поэт отрешён от праха,

но поэт, что работает дворником,
выше по иерархии!

Розу люблю иранскую,
но синенький можжевельник
мне ближе по иерархии
за то, что цвествь тяжелее.

А вы, кто перстами праздными
поэзии лезет в раны, —
вы прежде всего безнравственны,
поэтому и бездарны.

1977

РИМСКАЯ РАСПРОДАЖА

Нам аукнутся со звоном
эти несколько минут —
с молотка аукциона
письма Пушкина идут.

Кипарисовый Кипренский...
И, капризней мотылька,
болдинский набросок женский
ожидает молотка.

Ожидает крика «Продано!»
римская наследница,
а музеи милой родины
не мычат, не телятся.

Неужели не застонешь,
дом далёкий и река,
как прижался твой найдёныш,
ожидая молотка?

И пока ещё по дереву
не ударит молоток,
он на выручку надеется,
оторвавшийся листок!

Боже! Лепестки России...
Через несколько минут,
как жемчужную рабыню,
ножку Пушкина возьмут.

1977

АВТОЛИТОГРАФИЯ

На обратной стороне Земли,

как предполагают, в год Змеи,
в частной типографийке в Лонг-Айленде
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии,
за станком, с семи и до семи.
После нанесенья изошрифта
два немногословные Сизифа —
Вечности джинсовые связисты —
уносили трёхпудовый камень.
Амен.

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне
я врезал шрифтом наоборотным
«Аз» и «Твердь», как принято веками,
верность контролируя в зеркало.
«Тьма-тьма-тьма» – врезал я по овалу,
«тьматьматьма» – пока не проступало:
«мать-мать-мать». Жизнь обретала речь.
После оттиска оригинала
(чтобы уникальность уберечь)
два Сизифа, следуя тарифу,
разбивали литографский камень.
Амен.

Что же отпечталось в сознание?
Память пальцев и тоска другая —
будто внял я неба содроганье
или горних ангелов полёт,
будто перестал быть чужестранен,
мне открылось, как страна живёт —
мать кормила, руль не выпуская,
тайная Америки святая,
и не всякий песнь её поймёт.
Чёрные грузили лёд и пламень.
У обеих океанских вод
США к утру сушили плавки,
а Иешуа бензозаправки
на дороге разводил руками.

И конквистадор иного свойства,
Пётр Великий иль тоскливый Каин,
в километре над Петрозаводском
выбирал столицу или гавань.
Истина прощалась с метафизикой.
Я люблю Америку создання,
где снимают в Хьюстоне Сизифы
с сердца человеческого камень
Амен.

Не понять Америку с визитом
праздным рифмоплётom назидання,

лишь поймёт сообщник созиданья,
с кем преломят бутерброд с вязигой
вечности усталые Сизифы,
когда в руки вьелся общий камень.
Амен.

Ни одно– и ни многоэтажным
я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта,
на плечах с живой лисой захаживал,
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевый в белила.
Автолитографии теплели.
Как же совершилось преступленье?
Камень уничтожен, к сожаленью.
Утром, нумеруя отпечаток,
я заметил в нём – как крыл зачаток —
оттиск смеха, профиль мотыльковый,
лоб и нос, похожие на мамин.
Может, воздух так сложился в складки?
Или мысль блуждающая чья-то?
Или дикий ангел бестолковый
зазевался – и попал под камень?...
Амен.

Что же отпечталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании,
тайная улыбка испытаний,
водяная, как узор Гознака.
Что же отпечталось во мне?
Честолюбье стать вторым Гонзаго?
Что же отпечталось извне?
Что же отпечатается в памяти
матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибой?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что запомнят сизые Сизифы,
покидая возраст допризывный?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пенья»?
Что же в океане отпечталось?
Я не знаю. Это знает атлас.
Что-то сохраняется на дне —
связь времён, первопечаль какая-то...
Всё, что помню, – как вы угадаете, —
только типографийку в Лонг-Айленде,
риф и исчезающий за ним
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.
Аминь.

1977

ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога – одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг – оделся.

Подрывание строя – одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
жёлтой кофты вывешивал флаг.

В чём великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестеснённо и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды – тело,
содержание тела – душа.

1977

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят – не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.

И в одной цене, – ни за что, за так,
для тебя – восход, для меня – закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977

МЕССА-04

Отравившийся кухонным газом
вместе с нами встречал Рождество.
Мы лица не видали гаже
и синее, чем очи его.

Отравила его голубая
усыпительная струя,
душегубка домашнего рая,
несложившаяся семья.

Отравили квартиры и жёны,
что мы жизнью ничтожной зовём,
что взвивается преображённо,
подожжённое Божьим огнём.

Но струились четыре конфорки,
точно кровью дракон истекал,
к обезглавленным горлам дракона
человек втихомолку припал.

Так струится огонь Иоганна,
искушающий организм,
из надпиленных трубок органа,
когда краны открыл органист.

Находил он в отраве отраду,
думал, грязь синевой зацветёт;
так в органах – как в старых ангарах
запредельный хранится полёт.

Мы ль виновны, что пламя погасло?
Тошнота остаётся одна.
Человек, отравившийся газом,
отказался пригубить вина.

Были танцы. Он вышел на кухню,
будто он танцевать не силён,
и глядел, как в колонке не тухнул —
умирал городской василёк.

1977

ПАРОХОД ВЛЮБЛЁННЫХ

Пароход прогулочный вышел на свиданье
с голою водой.
Пароход работает белыми винтами.
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены.

Пассажиры спрятались от шума дня.
Встретили студенты под аплодисменты
режиссёра модного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» – барабанят дерзко.
Старый барабанщик, чур, не спать!
У такси бывает два кольца на дверцах,
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами.
Задержись, любимый, на пять минут!
Пароход свиданий не ждут с цветами.
На молу с дубиной родственники ждут.

1977

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Не «Отче Наш», не обида, не ужас
сквозь мостовую и стужу ночную,
первое, что осенило, очнувшись:
«Чувствую – стало быть, существую».

А в коридоре больничном, как в пристани,
не протестуя, по две на стуле,
тесно сидели суровые истины —
«Чувствую – стало быть, существую».

Боли рассказывают друг другу.
«Мать, – говорю, – подверни полотенце».
Нянчит старуха кормилицу-руку,
словно спеленатого младенца.

Я за тобою, мать малолетняя,
я за тобой, обожженец вчистую,
я не последний, увы, не последний...
Чувствую – стало быть, существую.

«Сын, – утешает, – ключица не бознать что...»
Звякнут прибывшему термосом с чаем.
Тоже обходятся без обезболивающего.
Так существуем, так ощущаем.

Это впадает народное чувство
из каждодневной стихии – в другую...
Этого не рассказал Заратустра —
«Чувствую – стало быть, существую».

Пусть ты расшибся, завтра из гипса
слушая первую птицу земную,
ты понимаешь, что не ошибся:
чувствую – стало быть, существую!

Ты подойдёшь для других незаметно.
Как ты узнала в разлуку такую?
Я поднимусь – уступлю тебе место.
Чувствую – стало быть, существую.

1977

ГОЛОС

Ловите Ротару
в эфирной трансляции,
ловите тревогу
в словах разудалых.
Оставьте воров,
милицейские рации, —
ловите Ротару!

Я видел:
берёза заслушалась в заросли,
надвинув грибы,
как наушников пару,
как будто солистка
на звукозаписи
в себя удалилась...
Ловите Ротару.

Порою
из репертуара мажорного
осветится профиль,
сухой, как берёста,
похожий на суриковскую Морозову,
и я понимаю,
как это непросто.

И волос твой долог,
да голос недолог.
И всех не накормишь,
по стройкам летая.
Народ голодает —
на музыку голод.
И охают бабы —
какая худая!..

1977

ЩИПОК

А. Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,

что выбивали матери ковры
плетёной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шёл со вшитую жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придём – коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

1977

ЧАСТНОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскою калиткой,
голову набок, щекою прижавшись к плечу, —
как прижимал недоступную зрению скрипку.
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты вступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку —
встал в пустоту, что осталась от роста Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела!
Новая тень под зарубкой стоит.
Клёны на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаше затеряно частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?...
Будто из книги вынули вкладыши
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне?
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте,
мчащийся мимо, как тебе имя?
Прежнее имя, как платье, лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе тень под зарубкой в избе?

Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

1977

«КОШКИН ЛАЗ» – ЦЕЗАРЬ-ПАЛАС

Зеркало над казино —
как наблюдающий разум,
купольное Оно.

Ход в Зазеркалье ведёт,
называемый «кошкиным лазом», —
«Людям воспрещено!»

По Зазеркалью иду (Пыль. Сторожа с автоматами) —
как по прозрачному льду... Снизу играет толпа.
Вижу затылки людей, словно булыжники матовые.
Сверху лица не видать – разве кто навзничь упал.

По Зазеркалью ведёт Вергилий второй эмиграции.
Вижу родных под собой, сестру при настольном огне.
Вижу себя под собой, на повышенье играющего.
Сколько им ни кричу – лиц не подымут ко мне.

Вижу другую толпу, – уже не под автоматами, —
мартовский взор опустив, вижу другое крыльцо,
где над понурой толпой ясно лежала Ахматова,
небу открывши лицо.

О, подымите лицо, только при жизни, раз в век хоть,
небу откройте лицо для голубого НЕЗЛА!
Это я знаю одно. И позабудьте Лас-Вегас.
Нам в Зазеркалье нельзя.

1977

ДРУГУ

Душа – это сквозняк пространства
меж мёртвой и живой отчизн.
Не думай, что бывает жизнь напрасной.
Как будто есть удавленная жизнь.

1977

* * *

Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди – увы...

Почему два великих народа
холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы...

Две страны, две ладони тяжёлые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
чёрт-те что натворившей Земли!

1977

ГРЕХ

Я не стремлюсь лидировать,
где тараканьи бега.
Пытаюсь реабилитировать
вокруг понятие греха.

Душевное отупение
отъевшихся кукарек —
это не преступление —
великий грех.

Когда осквернён колодец
или Феофан Грек,
это не уголовный,
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной
зарезан будущий смех —
это не преступление,
а смертный грех...

Но было б для Прометея
великим грехом – не красть.
И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн – не пасть.

Ах, как она совершила
его на глазах у всех —
Россию заморозивший
бессмертный грех!

А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что – не убил.

1977

ЛЮМПЕН-ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Опять надстройка рождает базис.
Лифтёр бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любит».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит балл тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.

Ты едешь бледная – «люминесценция»! —
по тёмным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счётчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волнение выпрыгнут молодом...

Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из инженеров выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!

1978

* * *

Неужто это будет всё забыто —
как свет за Апенниннами погас:
людские государства и события,
и божество, что пело в нас,
и нежный шрамик от аппендицита
из чёрточки и точек с боков —
как знак процента жизни ненасытной,
небытия невнятных языков?...

1978

* * *

Эти слава и цветы —
дань талантищу.
Любят голос твой, но ты —
всем до лампочки.

Пара падает в траву,
сломав лавочку,
под мелодию твою...
Ты им до лампочки.

Друг на исповедь пришёл,
пополам почти.
Ну а что с твоей душой —
ему до лампочки.

Муза в местной простыне
ждёт лавандово
твой автограф на спине.
Ты ей до лампочки.

Телефонит пол-Руси,
клубы, лабухи —
хоть бы кто-нибудь спросил:
«Как ты, лапочка?»

Лишь врагу в тоске ножа,
в страстной срочности,
голова твоя нужна,
а не творчество.

Но искусство есть комедь,
смысл Ламанческий.
Прежде, чем перегореть —
ярче лампочка!

ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни чёрной, ни золотой.

Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.

Важны ни хула или слава,
а есть в нём музы ка иль нет.
Опальны земные державы,

когда отвернётся поэт.

1978

ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА

Лягу навзничь – или это нервы?
От земного сильного огня
тьень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая чёрная берёза!
Видно, в Новой Англии росла.
И её излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Иерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.

В чёрную берёзовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил – и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестёр...»
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растёт.

1979

ИМЕНА

Да какой же ты русский,
раз не любишь стихи?!
Тебе люди – гнилушки,
а они – светляки.

Да какой же ты узкий,
если сердцем не брат
каждой песне нерусской,
где глаголы болят...

Неужели с пелёнок
не бывал ты влюблён
в родословный рифмовник
отчеств после имён?

Словно вздох миллионный
повенчал имена:

Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь
из имён времена,
словно вызовешь Китеж
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой
позовёт из окна
колокольню-нездешне:
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы
вслух слагала родня,
словно жемчуг семейный
завещав в имена.

Что за музыка стона
отразила судьбу:
и семью, и историю
вывозить на горбу?

Словно в анестезии
от хрустального сна
имя – Анастасия
Николаевна...

1979

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейными —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха чёрного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому моё невезение,
в патлах, по стенке.
Ну полетала бы, что ли, на венике,
вытаращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг, я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

1979

* * *

Соскучился. Как я соскучился
по сбивчивым твоим рассказам.
Какая наша жизнь лоскутная!
Сбежимся – разбежимся сразу.

В дни, когда мы с тобой развёрстаны,
как крестик ставит заключённый,
я над стихами ставлю звёздочки —
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...
Они же – попаданий скученность
по нам палящих автоматчиков.
Шмаляют так – что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился
по краю глаза, где смешливо
твой свет проглядывает лучиком
в незагоревшую морщинку.

1979

* * *

Я снова в детстве погостил,
где разорённый монастырь
стоит, как вскинутый костыль.

Мы знали, как живёт змея
и пионервожатая —
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
носами шмыг – и в пруд бултых!.

И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.

1979

ТАРКОВСКИЙ НА ВОРОТАХ

Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей.
Бей, урка дворовый,
бутцей ворованной,
по белому свитеру
бей —

по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.
За то, что напаялся белой вороной
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!
За то, что мазила, бей!
Пускай стирает Джульетта Мазина.
Сдай свитер в абстрактный музей.

Бей, детство двора,
за домашнюю рвотину,
что с детства твой свет погорел,
за то, что ты знаешь
широкую родину
по ласкам блатных лагерей.

Бей щёткой, бей пыром,
бей хором, бей миром
всех «хоров» и «отлов» – зубрил,
бей по непонятному ориентиру.

Не гол – человека забил,
за то, что дороги в стране развезло,
что в пьяном зачат грехе,
что, мяч ожидая,
вратарь назло
стоит к тебе буквой «х».
С великою темью смешон поединок.
Но белое пятнышко,
муть,
бросается в ноги,
с усталых ботинок
всю грязь принимая на грудь.

*Передо мной блеснуло азартной фиксой
потное лицо Шки. Дело шло к финалу.*

Подошвы двор вытер о белый свитер.
– Андрюха! Борьба за тебя.
– Ты был к нам жестокий,
не стал шестёркой,
не дал нам забить себя.

Да вы же убьёте его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как Андреевский крест.

*Да они и правда убьют его! Я переглянулся
с корешом – тот понимает меня,
и мы выбиваем мяч на проезжую
часть переулка, под грузовики. Мячик
испускает дух. Совсем стемнело.*

Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шёл,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.

...

Андрюша, в Париже
ты вспомнишь ту жижу
в поспешной могиле чужой.
Ты вспомнишь не у рок —
Щипок-переулок.
А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.
Не знаем твоих тревог.
Пока ж над страной трепещут экраны,

как распятый твой свитерок.

1979

МОНОЛОГ ВЕКА

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит, как кирпич, в веках.

Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на Творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный – закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из Ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили Бога.
Специален Бог для битья.

Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.

В схватке века с активной теменью
каков век, таков и поэт.
Любимые современники,
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля землёй,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю – мой.

1979

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажѐг фонарь под скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмѐт по окружной как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее освещена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя – своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал – приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдѐт вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы – Германа всё нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал – приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979

МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над чёрною астрой с причѐскою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нѐс её, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твоѐ в мокром батисте.

Отдай мне своё естество откровенно,
освободись же, освободись же,

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и воды заботы,

в колечках причёски вода западает,
как в чёрных оправках напрасные линзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклонённая шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979

* * *

Я так считаю. А кто не смыслит —
ходи в читальню.
Есть у поэзии и эта миссия,
я так считаю.

1979

* * *

На соловья не шлют доносов скворки,
у них не яд, а песня на устах.
Мне жаль тебя, завистник-стихотворец,
слабак в стихах, ты злобствуешь в статьях.

1979

БЕЗОТЧЁТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте чёрту,
но не изменяйте чувству безотчётному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчётливо,
тайное отечество безотчётное.

Женщина замешана в нем темноочёвая,
ты – моё отечество безотчётное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчётное, это безотчётное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают чётками грибными,

иль перо обронит птица неучёная —
как письмо в отечество безотчётное...

Шинами обуетесь, мантией почётною —
только не обучитесь безотчётному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчётное.

Это безотчётное, безотчётное
над рискованной пропастью вам пройти нащёптывает.

Когда черти с хохотом вас подвешат за ноги,
«Что ещё вам хочется?» – спросят вас под занавес.

«Дайте света белого, дайте хлеба чёрного
и ещё отечество безотчётное!»

1979

* * *

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности – от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукальвания. До иглоукальвания.

Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,
в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймёте, почему так колко.

1979

РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКТОРСКОЙ МАНТИИ В ОБЕРЛИНЕ

Политики повязаны.
Фрейд стар.
Истина – в поэзии,
Фред Старр!

Что мне делать с мантией?
Чай не царский сан.
Может быть, натянете
на дельтаплан?

Может, покатаемся
натошак,
как Мефисто с Фаустом
на плащах?

Чтобы люди обмерли
из долин —
Оберлин, Оберлин,
Оберлин...

Что это написано
in the sky?
«We must love each other
or die».

Это Оден, вычеркнув,
написал
птичками-кавычками
в небесах.

Как ты не сорвался,
Фред Старр?
Как ты не взорвался,
наш шар?

Но пока не пробило,
мы парим —
Оберлин, Оберлин,
Оберлин...

1979

* * *

Будто дверью ошибся,
пахнет розой и «Шипкой»,
будто жизнью ошибся во тьме —
будто ты получил свиданье,
предназначенное не тебе.

Ни за что – это время
и репей на коленке,
вниз сбегаящей по тропе, —
удивлённое благодаренье,
предназначенное не тебе.

Благодать без понятия
или камня проклятье,
промахнувшееся в слепоте?
Задушили тебя в объятьях,
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами,
вся Россия за вами
и разбитая песнь на губе —
заповеднейшее свиданье,
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.
Есть, наверное, лифты,
чтоб не лезть на балкон по трубе.
Прости, Господи, за молитвы,
предназначенные не тебе.

1979

* * *

На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек,
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа её бежит отчаянно.

1970

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ***Восьмидесятые***

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе.
Меньшого потеряли брата —
всемирного Володю.

Остались улицы Высоцкого,
осталось племя в «levi straus»,
от Чёрного и до Охотского
страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дёрном
растёт толпа вечноживая.

Ты так хотел, чтоб не актёром —
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского
землёй есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Всё, что осталось от Высоцкого,
магнитофонной расфасовкою
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,
любовь российская и рана.
Ты в чёрной рамке не уместисься.
Тесны тебе людские рамки.

С какою страшной перегрузкой
ты пел Хлопушу и Шекспира —
ты говорил о нашем, русском,
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами
в бумагах тленных и мелованных.
Певцы останутся певцами
в народном вздохе миллионном...

1980

МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печёных,
а утром пробегу —
монахиню моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь
голодные дистанции.
Желание растёт.
Как море ни имеешь – его всё недостаточно.
О, спорт! ты – чёрт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским серебряноголовые

– как кулачок под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросается под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь,
вернувшись в города:

«Кого любила?... Море...»
И всё ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980

АННАБЕЛ ЛИ

На мотив Г. Грасса

Я подбираю палую вишню,
падшую Аннабел Ли.
Как ты лежала в листьях подгнивших,
в мухах-синюхах,
скотиной занюхана,
лишняя Аннабел Ли!

Лирика сдохла в пыли.
Не понимаю, как мы могли
пять поколений искать на коленях,
не понимая, что околели
вишни и Аннабел Ли?!

Утром найду, вскрыв петуший желудок,
личико Аннабел Ли.
Как ты лежала чутко и жутко
вместе с личинками, насекомыми,
с просом, заглотанным медальоном,
непереваренная мадонна,
падшая Аннабел Ли!

Шутка ли это? В глазах моих жухлых
от анальгина нули.
Мне надоело круглые сутки, —
жизни прошли! —
в книгах искать, в каннибальских желудках
личико Аннабел Ли.

1980

* * *

Проглядев Есенина, упустивши Пушкина,
думаю, что люди создать должны
«Общество охраны памятников будущего»
параллельно с Обществом старины.

1980

* * *

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи – как ты ни поступи —
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за искусство для искусства!

1980

ДОЗОРНЫЙ ПЕРЕД ПОЛЕМ КУЛИКОВЫМ

Один в поле воин.
Раз нету второго,
не вижу причины откладывать бой.
Единственной жизнью
прикрыта дорога.
Единственной спичкой гремит коробок.
Один в поле воин. Один в небе Бог.

Вас нет со мной рядом,
дозорных отряда.
Убиты. Отправились в вечный покой.
Две звёздочки сверху
поставите свечкой
тому, кто остался доигрывать бой.

Дай смерти и воли,
волшебное поле.
Я в арифметике не силён.
Не красть вам Россию,
блатные батыи.
И имя вам – свора, а не легион.

И слева, и справа
удары оравы.

Я был одинок среди стужи ночной,
Удары ретивы —
теплей в коллективе!
И нет перспективы мне выиграть бой.

Нет Сергия Радонежского с тобою,
грехи отпустить
и тоску остудить.
Один в поле воин, но если есть поле,
то, значит, вас двое —
и ты не один.

Так русский писатель – полтыщи лет после,
всей грязи назло —
попросит развеять его в чистом поле
за то, что его в сорок первом спасло.

За мною останется поле великое
и тысячелетья побед и невзгод.
Счастливым моим, перерезанным криком
зову тебя, поле!
Поле придёт.

1980

РЕЧЬ

Смертны камень, и воздух,
и феномен человека.
Только текущий памятник
нельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку, —
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!

Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Таганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начинается жизнь моя и тихий амок.
Мы живём в городе
под названием «Молва».
Сколько в песне

утоплено персиянок!..

«а-а-а»...

С твоим «а» на губах
между нынешними акулами
я проплываю брассом
твою тёмную течь.
Дай мне
достоять от полуночи до Аввакума,
Речь!

Родился я в городе,
под которым Неглинка льётся.
Я с детства слушал
подземный хор,
где подавал мне реплику суфлёр —
из люка
канализационного колодца.

Избегаю понятия «литература»,
но за дар твоей речи
отдал голову с плеч.
Я кому-то придурок,
но почувствовал шкурой,
как двадцатый мой век
на глазах
превращается
в Речь.

Его тёмное слово,
пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

И ни меч, ни червь
не достанут впадающих в Лету,
тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.
Благодарю, что случился
твоим кратким поэтом,
моя русская Речь!

1980

* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма

по городу ежегодно
нёс бы пустую раму.

И вызывали б слёзы,
и попадали б в раму
то святая берёза,
то реки панорама.

Вбегала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела бы святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на неё, плакала бы.

1980

ПЕРЕЕЗД

Поднял глаза я в поисках истины,
пережидая составы товарные.
Поперёк неба было написано:
«Не оставляй меня».

Я оглянулся на леса залысины —
что за привычка эпистолярная?
«Не оставляй меня», – было написано
на встречных лицах. «Не оставляй меня».

«Не оставляй», – из окошек лабали.
Как край полосатый авиаоткрытки,
мелко дрожал слабоумный шлагбаум:
«Не оставляй...» Было всё перекрыто.

Я узнаю твою руку заранее.
Я побежал за вагонным вихлянием.
Мимо платформы «Не оставляй меня»
плыли составы «Не оставляй меня».

МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров, —

и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён – и всерьёз! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром встаёшь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь её поезд увёз.
Но в её жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенёс.
Но в его жизни была
целая площадь из роз.

1981

УСТЬЕ ПРЕДЧУВСТВИЙ

1

Где я последние дни ни присутствую,
по захолустьям жизни забитой, —
будто находишься в устье предчувствий,
переходящем в море событий.

Всё, что оплакал, сбывается бедственно.
Ночью привидится с другом разлука.
Чувство имеет обратное действие.
Утром приедешь – нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.
О, не летайте тем самолётом!
Будто сначала пишется реквием,
а уж потом всё идёт как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.
Думать – опасно.
Только подумаю, что ты порежешься, —
боже! – вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.
Самая мысль вызывает крушенье.
Только не думайте перед вылетом!
Не сомневайтесь в друге душевном!

Не сомневайтесь, не сомневайтесь
в самой последней собаке на свете.
Чувством верните её из невнятиц —
чтоб не увидеть ногтей синеватых —
верьте...

2

Шёл я вдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,
время стемнело. Слышались листья:
«Мы – мысли!»
Пар подымался с притока речушки:
«Мы – чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
Степь начиналась. Идти стало трудно.
Суслик выглядывал перископом
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море
как повторенье гравюры забытой —
фантазмагория на любителя! —
волны людей были гроздьями горя,
в хоре утопших, утопий и мора
город порхал электрической молью,
трупы истории, как от слабительного,
смыло простором любви и укора.
море моею питалось рекою.
Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,
будто на ствол крона шумного лета,
или на руку боксёра перчатка,
или на флейту Моцарт печальный,
или на душу тела личина, —
чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,
в устье предчувствий —
там, где речная сольётся с морской,
выпей из устья!»

Видишь, монетки в небе мигают.
Звёзды зовутся.

Эти монетки бросил Гагарин,
чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?
Или замкнулся с душой мировой?
Что за собачья эта кручина —
чують, вернее, являться причиной?...
И окружающим мука со мною.

1980

ИНСТРУКЦИЯ

Во время информационного взрыва,
если вы живы,
что редко, —
накрывайтесь «Вечёркой» или районным
«Призывом»
и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва
нет пива,
нет рыбы, есть очередь за чтивом.
Мозги от чёрного детектива
усыхают, как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.
Информированные красотки
перешли на запоминающее устройство.

Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.
Многие трупы
записываются в тургруппы.

Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,
в разных городах путём обманов
подготавливает демографический взрыв.

Симптомы:

тяга к ведьмам, спиритам и спиртному.

Выделяется колоссальная духовная энергия,
вызывают дух отца Сергия.
Над Онегою
ведьмы в очереди зубоскалят:
почему женщин не берут на «Скайлэб»?

Астронавт NN к полёту готов,
и готов к полёту спирит Петров.

Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!

Вызывает следователь МУРа
дух бухгалтера убиенного.
Тот после допроса хмуро
возвращается в огненную геенну.

Над трудящимися Севера
писательница, тепло встреченная,
тарыхтит, как пустая сеялка
разумного, доброго, вечного...

Умирает век – выделяется его биополе.
Умирает материя – выделяется дух.
Над людьми проступают идея и воля.
Лебединою песней летит тополиный пух.

Я, один из преступных прародителей
информационного взрыва,
вызвавший его на себя,
погибший от правды его и кривды,
думаю останками лба:

мы сами сажали познания яблони,
кощунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от Бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились?

Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны, —
извините издержки наших драк.
Но в прорывы бума вошёл феномен —
миллионные Цветаева и Пастернак.

Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?

Озёрной, интуитивной,
конкретной до откровенья...

Голову ампутуйте,
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы – издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной войны.
Информационный взрыв – бумажный тигр.

...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зёрнышко
взойдёт в душе озёрного пацана.

И всё будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
В начале было Слово. Он всё начнёт сначала.
Согласно информации, слово – Бог.

1981

* * *

– Вы читали? – задавили Челентано!
– Вы читали, на эстраде шарлатаны?
– Вы читали, в президенты кого выбрали?
– Не иначе это Джуна. Чую фибрами.
– В одной школьнице во время медосмотра
обнаружили Людовика Четвёртого!
Начиталась. Наглоталась эпохально...
– Вы читали? – биополе распахали.
– Если хочется вам криночку коровьего,
о нём можно прочесть у Григоровича.
– Мы до дырок Окуджаву зачитали.
Вы видали? Шёл потёртый... Мы в печали.
– Вы считали, с кем жила Анна Андреевна?
– А с кем не жил Александр Блок, считали?
– Вы считаете Москву большой деревней?
– Нет. Но я люблю её, избу-читальню.

1981

ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ

Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь, как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия – та же материя.
Ладошка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрещённые лыжи.

Моё преступленье ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

1981

ТРУБАДУРЫ

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были – трупы, мы были – трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были – трусы, мы были – трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мёртвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.

Пространство – ваше. Но время – наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубках,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

1981

ПОДПИСКА

Подписываюсь на Избранного
читателя.

Подписываюсь на исповедь
мыслителя из Чертанова.

Подпишите меня на Избранного,
властителя дум.
Я от товарища Визбора!
Читательский бум.

Кассеты рынок заполнили.
Сквозь авторов не протиснуться.
Подписывают на Полного,
на Избранного не подписывают.

Подписывают на двухтомную
любительницу в переплёте,
в её эпопеях утонете,
но до утра не прочтёте.

Подписывают на лауреата премии
за прочтение неогения.

Подписывают на обои,
где краской тома отгиснуты.
Весь город стоит за Тобою.
Я отдал жизнь за подписку.

Подпишите меня на русскую
дорогу, что мною избрана!
Подписываюсь в нагрузку
на двух спекулянтов избрами.

Подписываюсь без лимита
на народ, что живёт и мыслит,
за Осипа, Велимира,
Владимира и Бориса.

Подпишите меня на повести,
слушаемые ночами,
что с полок общего поезда,

как закладки, висят ступнями.

На судьбы без переплёта —
бакенщика в Перемышле,
чьи следы не перепьёте,
но сердцем всё перепишите.

Подпишите на запрещённого
педсоветом юнца-читателя,
кто в белом не видит чёрного,
но радугу – обязательно.

На технаря сумасшедшего,
что на печать не плачется,
пишет стихи на манжетах
и отдаёт их в прачечную.

Читательницы недогматки!
С авоськой у рынка Центрального!
Невыплаканные Ахматовы,
тайные мои Цветаевы.

Решительные мужчины —
отнюдь не ахматовцы —
мыслящие немашины.
Спасут вас – и отхохмятся.

Валентина Александровна Невская,
читчица Первой образцовой!
Румянец ваш москворецкий
станет совсем пунцовым.

Над этой строкой замешкаетесь,
своё имя прочтя в гарнитуре.
Без Валентины Невской
нет русской литературы.

Над Вами Есенин в рамке.
Он читчик был Образцовой!
Стол Ваш выложен гранками,
словно печь изразцовая.

Стихи въелись в пальцы резко.
Литературу не делают в перчатках.
Читайте книги Невской,
княгини книгопечатанья!

Германия сильна Лютером.
Двадцатые годы – Татлиным.
Штаты сильны компьютером.
Россия – читателем.

Он разум и совесть будит.
Кассеты наладили.
В будущем книг не будет.
Но будут читатели.

1982

В ТОПОЛЯХ

Эти встречи второпях,
этот шёпот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!

Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торопитесь, торопитесь!

Торопитесь опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.

Торопитесь опоздать,
пока живы – опоздайте.
Торопитесь дать под зад
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является тобою!..

Эти шавки в воротах.
Фары вспыхнувшим рапидом.
У шофёра – второй парк.
Ты успела? Торопитесь...

1982

* * *

Ты мне никогда не снишься.
Живу Тобой наяву.
Снится всё остальное.
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.
Вся загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбрита подмышка.

Набережная Софийская!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих Тобой лип.

1982

РЕДКИЕ КРАЖИ

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершён налёт.
Дали кляп шоферу —
чтоб не декламировал.
Драгоценным рифмам настанёт черёд.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кареты перетряхивали
за стихов тетрадки,
Масскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать,
что придёт в пурпурном
подводном шлеме Дант.
У бандитов тоже есть дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане,
давайте воровать и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!
Он издаст трагичную «Избранную лирику».
Мы её своруюем и боданём.

Одному поэту проломили череп,
вытащили песни лесных полян,
и его застенчивый щелочный щебет
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой сам продал голос свой таранный.
Он теперь без голоса – лишь хлоп из гланд.
Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьёзным – Время ждёт таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином.
Тьма аквалангистов, но нету Данта.
Кое-кто ворует —

но где Вийон?

1982

КУЗНЕЧИК

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни,
мой акустический кузнечик,
и в этих музыках вкуснейших
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву,
органы лиелупских сосен
и счастье женщины несносной,
которым только и живу.

Как сладостно обнявшись спать!
А за окошком долго-долго
в колках древесных и восторгах
заводит музыку скрипач...

Сыграй зелёный меломан.
Роман наш оркестрован грустью,
не музыкальная игрушка,
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь,
дрожа углами ног нездешних,
приснится крохотный кузнечик —
как с самолёта Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...
Ведь жизнь твоя ещё короче,
чем жизни музыкантов прочих,
хоть и не вечные они.

ШЕКСПИРОВСКИЙ СОНЕТ

*Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...
Да жаль тебя покинуть, милый друг.*

Перевод С. Маршака

Охота сдохнуть, глядя на эпоху,
в которой честен только выпивоха,
когда земля растащена по крохам,
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.

Охота сдохнуть, слыша пустобрёха.
Мораль читают выпускницы Сохо.
В невинность хам погрузится по локоть,
хохочет накопительская похоть,
от этих рыл – увидите одно хоть —
охота сдохнуть...
Да, друга бросить среди этих тварищ —
не по-товарищески.

*Давно бы сдох я в стиле «де-воляй»
но страсть к тебе с убийствами
в контрасте.
Я повторяю: «Страсти доверяй»,
trust – страсти!
Да здравствует от этого пропасть!*

*Все за любовь отчитывать горазды,
конечно, это пагубная страсть —
trust – страсти!
Власть упадёт. Продаст корысть ума.
Изменяет форму транспортные трассы.
Траст-страсти, ты не покидай меня —
траст-страсти !*

1983

СОН

Я шёл вдоль берега Оби,
я селезню шёл параллельно.
Я шёл вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишённых лаянья собачьего,
финально шёл XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шёл меж сосен голубых,
фотографируя их лица, —
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.

Мне не было пути назад.
Вошёл я злобно и неробко —
вместо того чтобы нажать,
я вырвал с проводами кнопку!

1983

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.

Стал над берёзой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрий и примусов,
в мире, замешанном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты – незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беда и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнётся ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В тёмных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.

Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали – любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно – моей, принесите – своей.

1983

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой хмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу
стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.

Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы!
А за окном луны, понятный для собак,
невидимый людьми,
шёл не Христос по водам —
по крови деспот шёл в бесшумных сапогах.

Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в эти дни
мы были влюблены.

1985

ИПАТЬЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,

чем сохранил её дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет законный, узор обманный,
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата-моргана!
У мальчугана заспанный взор...
Аж кислотой, сволота, растворили...

– Дети! Как формула дома Романовых?
– H₂SO₄!

Боже, храни народ бывшей России!
Серные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посейчас.

Морганатическую фрамугу
вставлю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали округи в раме фрамуги
и вопрошающий взор высоты.

1985

БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у папы римского:
«Вы верите в тарелки?»
Улыбнувшись, как нелепости,
мне ответил папа:

«Нет».

И Христос небес касался,
лёгкий, как дуга троллейбуса,
чтоб стекала к нам энергия,
движа мир две тыщи лет.
В Папскую библиотеку
дух Иванова наведывался.
И шуршал рукав папирусный.
Был по времени обед.
Где-то к Висле мчались лебеди.

Шла сикстинская побелка.
И на дне реки познания
поблёскивал стилет.
Пазолини вёл на лежбище
по Евангелию и Лесбосу.
Боже, где надежда теплится?
Кому вернуть билет?
Бах ослеп от математики,
если только верить Лейбницу.
И сибирской группы «Примус»
римский пел эквивалент.
Округлив иллюминаторы,
в виде супницы и хлебницы
проплыла капелла Паццы,
как летающий объект.
В небесах на телеспутнике
Си-би-эс сражалось с Эй-би-си.
Жили жалко. Жили мелко.
Не было идей.
Землю, как такси по вызову,
ждала зелёная тарелка.
Кто-то в ней спросил по рации:
«Вы верите в людей?»

1986

Я ПЕРЕВЁЛ СТИХОТВОРЕНЬЕ «ТЬМА» КАК «ЯДЕРНАЯ ЗИМА»

«I had a dream which was not all a dream...» [1]
Я в дрёму впал. Но это был не сон.
Послушайте! Нам солнце застил дым,
с другого полушария несом.
Похолодало. Тлели города.
Голодный люд сковали холода.
Горел лес. Падал. О, земля сиротств —
«Rayless and pathless and the icy Earth...» [2]
И детский палец, как сосулька, вмёрз.

Что разумел хромающий гяур
под понижением температур?
Глядела из промёрзшего дерьма
ядерная зима.

Ядерная зима, ядерная зима...
Наука – это явление лишь год как узнала сама.
Превратится в сосульку
победившая сторона.
Капица снял мне с полки байроновские тома.
Байрона прочитайте! Чутьё собачее строф.
Видно, поэт – барометр
климатических катастроф.

«I had a dream», – бубнил как пономарь
поэт. Никто его не понимал.
Но был документален этот плач,
как фото в «Смене» или «Пари матч».
В том восемьсот пятнадцатом году
взорвался в Индонезии вулкан.
И всю Европу мгла заволокла
от этого вулкана. Как в бреду.
«Затмение сердца, – думал он. – Уйду».

Он вышел в сад. Июнь. Лежал в саду
пятнадцатисантиметровый снег.
И вдруг он понял, лишний человек,
что страсть к сестре, его развод с женой —
всё было частью стужи мировой.
Так вот что байронизмом звали мы —
предчувствие ядерной зимы!
(И Мэри Шелли ему в тот же день
впервые прочитала «Франкенштейн».)

Свидетельствует Байрон. «Лета нет.
Всё съедено. Скелета жрёт скелет,
кривя зубопротезные мосты.
Прости, любовь, земля моя, прости!

«I had a dream».
Леса кричат: «Горим!»
Я видел сон... А люди – жертвы псов.
Хозяев разрывают на куски.
И лишь один, осипнув от тоски,
хозяйки щёку мёртвую лизал,
дышал и никого не подпускал.
Сиротский пёс! Потом и он замёрз.
«Rayless and pathless and the icy Earth...»
Ты был последним человеком, пёс!»
Поэт его не называет «dog».
То, может, Бог?
Иль сам он был тем псом?

«Я видел сон. Но это был не сон.
Мы гибнем от обилия святых,
не свято спекулируя на них.
Незримый враг торжествовал во мгле.
Горело «Голод» на его челе».
Тургенев перевёл сии слова.
Церковная цензура их сняла,
быть может прочитав среди темнот:
«Настанет год, России чёрный год...»

«Как холодает! Гады из глубин
повылезали. Очи выел дым
цивилизации. Оголодал упырь.

И человек забыл, что он любил.

Всё опустело. Стало пустотой,
что было лесом, временем, травой,
тобой, моя любимая, тобой,
кто мог любить, шутить и плакать мог —
стал комом глины, амока комок!

И встретились два бывшие врага,
осыпав пепел родины в руках,
недоумённо глянули в глаза —
слёз не было при минус сорока —
и, усмехнувшись, обратились в прах».

С. П. Капица на телемосту
кричал в глухонемую пустоту:
«От трети бомб – вы все сошли с ума! —
наступит ядерная зима.
Погубит климат ядерный вулкан...»
Его поддерживает Саган.

Вернёмся в текст. Вокруг белым-бело.
Вулкана извержение привело
к холере. Триста тысяч унесло.
Вот Болдина осеннее село,
где русский бог нам перевёл: «Чума...»

Ядерная зима, ядерная зима —
это зима сознания, проклятая Колыма,
ну, неужели скосит, – чтобы была нема, —
Болдинскую осень ядерная зима?!

Бесчеловечный климат заклиненного ума,
всеобщее равнодушие, растущее, как стена.
Как холодает всюду! Валит в июле снег.
И человеческий климат смертен, как человек.

Станет Вселенная Богу одиночкой, как тюрьма.
Богу снится, как ты с ладошки
земляничкой кормишь меня.
Неужто опять не хлынет ягодный и грибной?
Не убивайте климат ядерною зимой!
Если меня окликнет рыбка, сверкнув, как блиц,
«Дайте, – отвечу, – климата
человечного без границ!»
Модный поэт со стоном
в наивные времена
понял твои симптомы,
ядерная зима.

Ведьмы ли нас хоронят
в болдинском вихре строф?

Видно, поэт – барометр
климатических катастроф.
Пусть всемогущ твой кибер,
пусть дело моё – труба,
я протрублю тебе гибель,
ядерная зима!
Зачем же сверкали Клиберн,
Рахманинов, Баланчин?
Не убивайте климат!

Прочтите «I had a dream...»
Я видел сон, which was not all a dream.
Вражда для драки выдирает дрын.
Я жизнь отдам, чтобы поэта стон
перевести: «Всё это только сон».

1987

ТРЕЩИНА

Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?

Бьёт в ноздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.

Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневоый сад
донациональный гад.

С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.

Бесчеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.

Пней поднебесный тир.
Озёрный Левитан.
И небосклон из дыр
озонных трепетал.

Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент
на центробежный спектр
национальных лент.

Всё резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.

1987

* * *

Во время взлёта и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то совестибулярный,
не ясный для науки аппарат.

Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолёт с жестяною ладонью
энергию вбирает полевую.

Читаю ль тягомтину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике, —
что будет с родиной?

Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадётся, как Урарту, —
что будет с родиной?

Не административная система —
блеск её вёрст, на спиннинги намотанный.
Она за белой церковью синела
нерадиоактивную смородиной.

Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берёз, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»

1988

* * *

Я открываю красоту
не как иные очевидцы —
лишь для того её найду,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ль черносливной косточкой
край Корсики с полёта птицы,
мне сразу возвратиться хочется,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ли на небе ноготь,
Тобой остриженный, прилипший,
и сердце начинает ёкать,
хоть всем не скажешь из приличий.

Дождливый ёжик по тропе
мерцает, световоды будто.
Я всё равно вернусь к Тебе,
хотя пути уже не будет.

Зрачки наполнив красотой,
чтоб не пролить, сожму ресницы.
К Тебе я добреду слепой,
чтобы собою поделиться.

Сосем иная тишина
та, что предшествовала слову, —
чем поцелованная словно,
что музыкой напоена.

1988

* * *

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает —
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стёкла примеряют.

1988

ГОЛУБОЙ ПОГУБАЙ

К нам вселился голубой
Погубай.
Он умылся под струёй,
Покупай.
Всех обидел голубой
Обругай.
Наряжается, как площадь Пигаль.
Ночью кашляет, как Баба Ягай.

Был по телику художник Хукасай.
Его имя переврал Хулигай.
Хулигай, Хулигай!
Сам дурак – не покупай!

Он, как трубка телефонная,
висит.
Целый день, не уставая, говорит.
Он с Австралией подсоединён.
Вечно занят голубой телефон.

Что ты ищешься у гостя в голове? —
может, мысль обнаружишь или две.
Тебя били, Хулигай.
Ты всё одно
говорил: ищу жемчужное зерно.

А вчера он заболел, Погибай,
Видно, мысль плохую съел невзначай!..
«У меня от кошки сердце болит.
Аллергия от неё», – говорит.

1989

РЕГТАЙМ

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый
и умеет плавать как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапёр.

Чёрный клавиш – белый клавиш.
Всё, что было не поправишь.
Он ещё не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро!» —
современной музыки девиз.

Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.
Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.
У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»

и летайте ночи напролёт.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций,
с ним в оркестре гонщица поёт.

1983

* * *

Гора решенья. И гора страданья.
И за спиной Восток.
Сквозь гору проступает тайная
цепочка из крестов.

Он там пятнадцать остановок сделает,
припав к камням,
как поцелуи осыпают тело
от уст к устам.

Он на гору размяться выйдет,
и над второй горой
он, словно в зеркале, увидит
крест теневой.

И в спину бьющее светило,
на облако отбросив тень,
Его на небо пригвоздило.
Так по сей день:

«Пётр отречётся.
Страшной дисциплиною
я форму крестную приму.
От рук моих светящиеся линии
продлятся в космос и на Колыму.

Ученики, к чему рыдания?
Я так решил. Не отойти.
Рейшина моего страданья
прочертит человечеству пути».

25 октября 1989

* * *

Оправдываться – не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймёт – что объяснять ему?
Душа ж всё знает – что ей объяснять?

1980

ПЕСНЯ НА БИС

Концерт давно окончен,
но песня бесконечна.
Снял звукооператор уставший микрофон.
Я вместо микрофона
спою в бутон тюльпана!
на сцене мировой.

Я вам спою ещё на бис —
не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь.
Но я артист.
Я повторю.

Спасибо за тюльпан,
за то, что пело в нас,
спасибо за туман
твоих опять влюблённых серых глаз.

Я повторю судьбу на бис.
Нам только раз в земном краю
дарует Бог любовь и жизнь.
Но я не Бог.
Я повторю.

1981

СВЕТ

Можно и не быть поэтом
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемлённого дверьми!

ЖЁЛТЫЙ ДОМ *Девяностые*

А. МЕНЬ

1

Кто поднял топор на священника?
Кто шёл за ним в раннюю стынь?
И как найти в сердце прощение
тому, что сейчас творим?
Кто поднял топор на священника,
тот проклял себя. Аминь.

Неужто страна в деградации
болеет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца ежечасно
смягчал. Темны времена.
Убитый домой стучался.
Его не узнала жена.
Накрыла его безучастная
сусальная простыня.

С его позвонками шейными
диспут провёл топор.
Страна, убивая священников,
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой
с Тарковским были близки,
пятьсот пятьдесят четвёртой
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах
пятьсот пятьдесят четвёртой.
На панихиде твоей
от имени нашей школы,
зажгут тебе свечку скорбную,
опальный протоиерей.

Приход посреди России.
Афганцы. Маковок синь.
И девушка вслед литургии
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском
над утренней нашей тропой
с космической достоверностью
предсказанный Достоевским,
как спутник, летит топор.

2

Прокатилось до Армении от московских деревень:
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень – нем».

Новая Деревня, Храм Сретенья
10 сентября 1990

ПОСТ

«Пост, христиане! Ни рыбы, ни мяса,
с пивом неясно...»
Рост различаю в духовных пространствах
постхристианства.

Постхристиане стоят под мостами Третьего Рима.
Дёргает рыба, как будто щекой Мастрояни.
Те рыбаки с пастухами Евангелие сотворили.
Где ваша Книга, постхристиане?

«Наши Марии – беременные от Берии.
Стал весь народ – как Христос коллективный.
Мы, некрещёные дети Империи,
веру нащупываем от противного.

В танце зайдись, побледневшая бестия,
чёрная школьница!
Пальцы раздвинув, вскинешь двуперстие,
словно раскольница».

Так, опоздавши на тысячу лет,
в тёмных пространствах,
мучая душу, тычется свет
постхристианства.

1990-е

ПОВТОРНЫЙ АНГЕЛ

Валторна
блуждает в эфире. Мы снова одни.
Повторно
меня обними.
Оторвой
тебя называют, не ведая суть.
Повторный,
мой ангел повторный, со мною побудь.
Бессмертие спорно,
бесспорное – это ты.
Нет порно,
в любви все поступки чисты.
Из спорта
была наша встреча.
Мы парные, как «Reebok».
Повторная встреча
лифтёршей котируется как любовь.
Бесспорно.

Мы – эхо повтора.
Луна через шторы
рассыпала спичечный коробок.

мой ангел повторный,
храни тебя Бог!
Притворно
примеришь берет набекрень —
вальтово.
Ты слышишь валторну?
Сквозь всю дребедень —
валторна...

1990-е

ПЕВЕЦ

У него колечко в ухе
вспыхивает под лучом —
чистым слухом в век чернухи
с музыкою обручён.

1990-е

* * *

Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.

Под навесом оргалита,
нажимая на педаль.
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобою передал.

1990-е

* * *

Море красится сурьюю,
о Тебе напомнить хочет.
Забелеет парус в море,
как в кармашке Твой платочек.

1990-е

БУЛЬВАР

Я корчил галантную рожу
и, как подобало годам,
прощальную белую розу
бросал к Твоим спелым ногам.

Ты стала красивой и строже.
Весь в складках, с отвисшей губой,
бульдог, словно белая роза,

влюблённо идёт пред Тобой.

Темнеет. Мы жили убого.
Но пара незначущих фраз,
но белая роза бульдога,
но Бога присутствие в нас...

1990-е

ОКНА

Свет потуши. Зажгутся окна
невыразимую зарёй.
В потустороннем доме – ёлка.
Там ожидают нас с тобой.

И сквозь морозные узоры
на нас, стоящих за окном,
улавлятся иные взоры —
Пространств странноприимный дом.

1990-е

ЛИЗА ОМОНА

В лесу твоё тело пятнисто-лимонно —
в солнечных зайчиках, в тенях от листьев.
Тебя называю я Лиза ОМОНА,
ОМОНА Лиза.

После дождя, близорукая рожица,
как ты искала контактные линзы!
И жизнь закружилась, сперва понарошку,
под кодовой шуткой – «ОМОНА Лиза».

Губы сжимая, улыбку змеила,
в рот набирая холодную «Плиску».
Близко склонялась, собою поила —
плиз! —
обожаю ОМОНА Лизу.

Ты просыпаешься только к закату.
Тебе наплевать на лимоны Мамоны!
Лучшие мэны не вскрыли загадку.
Мафия сматывает знамёна.

Знаешь, мне кажется, если спуститься
к нашим ручьям, только щёки омою —
столб закружится из листьев пятнистых.
Ты маскируешься, Лиза ОМОНА.

Панка пятнистая, зайчики пяткок.

Где тебя кружит? Выбила ль визу?
Страны какие приводишь в порядок,
ОМОНА Лиза?

1990-е

ПРОЩАНИЕ С КНИГОЙ

1

Пронеслась Россия с гулом.
Как в туннель, народ мелькнул.
«Русская литература»
называют этот гул.

Кто вливает виски в тюрю,
кто бежит к зарубежу.
В русскую литературу,
как в тревогу, ухожу.

Я отвечу на «ату его!»,
но не вам, тов. господа.
Русская литература,
ты – преддверье Господа.

Ты, в которой вместо текста
чёрно-белый шрифт берёз,
ты, которая естественно
совесть повестью зовёшь...

Ежели свобода-дура
в нас осуществит сполна
геноцид литературы —
то свобода ли она?

2

Что такое книга? Трудно
вам вообразить уже.
Телик с титрами? Но трубка
подключается к душе?

Что такое книга? Или
отработанный приём?
Или генофонд России,
притворившийся шрифтом?

По тебе гадаю, книга,
ты дрожишь в моих руках —
безголовая, как Ника
о двух крохотных крылах.

А какая тайна чтенья,
вдвоём, в сквере где-нибудь!
От плеча идёт волнение:
«Можно ли перевернуть?»

Так тысячелетье длится
наше чтенье сообща.
Превращаются в страницы
два прижатые плеча.

3

Ты не только слёзы Лизы
среди кризиса бумаг,
ты – ломоть идеализма,
территория в умах.

И какую форму примут
без тебя наши дворы
и беременный периметр
Вифлеемовой горы?

– Что такое Дух? – расстроюсь,
врубит гид по телетуру.
– А куда мы сдали совесть?
– В русскую литературу.

1990

КОМПРА *Поэма* *Увертюра*

Почём звонит колокол?
Да здоровствует чёрное солнце!
Двуглавый орёл альковный
как минимум спит с двумя.
«Ивановская колокольня
не названа ль в честь «Японца»?
а трамвайчик речной —
в честь «Тайваньчика?» —
спросил дипломат меня.

По ком ты молчишь, Царь-колокол,
как наша душа, расколотый?
Кому позвонил Колобов?
Народы узнать хотят.
Мы мрём от духовного голода:

А ТЫ СОБРАЛ КОМПРОМАТ?

Первый акт

Мы живём под знаком Компры.
Грязен каждый, кто не глуп.
В телефоне ждёт, как в кобре,
прослушивающий зуб.

Клава Шиффер, Клава Шиффер —
девственница, говорят.
ТАСС опровергал фальшивку —
Компромат! компромат!

Ну и кобель! Ну и кобель!
Над Москвою звёзд полно.
Или это Давид Коппер-
филд играет в домино?

О Давиде одавидеодавидеодавидеодавидео

Наши теннисные корты,
как авоська, полны компры.
Компромартовские кошки
мажут аудиофон.

У жены в руках вещдок —
один компроновый чулок.
Что ж ты в холод свою золушку
отпустил в одном чулке?!

Миф о краденном алмазе
обожаю в мире тухлом.
Компра – это грёза грязи
и блаженство нищих духом.

Нет святого на Руси.
Кто с луны стянул трусы
впервые надо всем
Северным полушарием?

Второй акт

Поспешаем.

Объявлена всеобщая мобилизация компромата. Генштаб
не спит. Компрабабушки пикетируют комправнуков. Про.
Контра. Мат. Компрадорскую буржуазию вытесняет компра-
дорский пролетариат. Держите братьев Компрамазовых!
В Думе продаётся игрушка-ауди: «Уйди-уйди!..»

Прометея скомпрометировали.

Он тепло своровал для нас, авантюрист,
и свистит в переходе флейтист ампутированный:
«Человек, Божий замысел – чист!»

Богоматерь скомпрометирована.
Её гонит с квартиры двуногий примат.
Тайный свет выдаёт Её – аметистовый
неземной компромат.

И пантера со стрижкой, как Хакамада,
и овца, а за ними пастух и поэт
лицезрят целомудренного компромата
новый свет.
Назовут его Новый Завет.

Кого считывает КАССЕТА?

...ромео и джульетта? паоло и франческа? резанов и кончита? адольф и ева браун?
вибратор и бритва браун? наркобароны для петровки? лаура и петрарка? демон и тамара?
чайковский и фон – ... (накладывается непонятный фон)

...мой милый божественный кайф блаженный Василий в окошке как ёлочные
украшения нежность до изнеможения попалась я (пауза) в душе шум нирваны (шум душа в
ванной и телефонный звонок) алло от ширака страна моя родная необъятная моя россия
западное крыло повело понесло понесло гималаи тропик рака ещё умоляю афон (запись
зашкаливает фон) глянь в окошке зима уж а я думаю что же ты носки не снимаешь на видео
микки маус

Третий акт

Жизни смысл в сиянье тайны —
как Титаник в бездне лет.
А без тайны жизнь – ботаника,
там без тайны смысла нет.

*Создаётся Министерство обнародования тайн. Раскроем тайны Космоса. Он
проткнул штопором Полярную звезду, дёрнул – оттуда такое полилось... Шурупами бы
привин-тить Его, шурупами! А то гвозди так легко вынимаются из креста.*

Может, он был на кассете?
Иль иные голоса
унесли в велосипеде
два незримых колеса?
Может, в плёнке сохранится
шёпот нашей чистоты?
Милый мой читатель (ница),
может, это дышишь ты?
То дыханье нашей подлостью
неопознано пока.
Но всё, что есть в мире подлинного, —
два спелетённых голоса.

Вторая сторона кассеты

...на спине у тебя отпечаток газеты за 31 декабря ну бля а где ты работаешь в диамбанке амба банку это хорошо сидеть в амбаре и пить кампари хорошо ой петя хорошо хорошо я митя хорошо ой хорошо витя абрау дюрсо будешь ты царица мира мимо поправь ты не прав витенька ой сейчас вытеку ау
(диопрвал на 30 секунд)
свет гасишь как сказал старик гафиз
(запишем «гашиш»).

Акт спиритизма

Экспертиза

«Фабрикуем подлинники.
Цена договорная».

– Но я не спал с Вами!
– Но вот Ваше фото и видео.
– Да, я спал, но не с Вами, видимо.
– А чем Вы докажете адекватность вашей дамы?
Смотрите, – вот она на видео с куриными ногами.
Сирена выла. Фальшивые люди заполнили коридоры.
Пиковая дама явилась к Гельману. Марату. Чтобы зарезать его в ванной. Достала кинжал. Но ванная не работала.

Романтический компромат рисует, как соцреализм, не того человека, который есть, а того, который должен быть. У меня отключили телефон за неуплату, а в газете читаю, что я якобы купил виллу на Лазурном берегу. Продать бы эту виллу, внести бы квартплату за век вперёд.

Народ компрометирует правительство. Или наоборот.

Парфюмерная наклейка подаёт в суд на Парфенон – он компрометирует её гляцевую копию своими неотремонтированными колоннами.

– Я Блок – Нет, я Блок – Я Блок ада – бл... О. К. – блокада двойников.

Мой двойник уехал в Сан-Франциско. Когда ущипну себя – он там просыпается.

Кто создал нас по образу и подобию своему?

Какого Создателя мы собой компрометируем?

КОМПРАКОМГПРАКОМПРАКОМПРА

Третья сторона кассеты

...барышня перевернитесь на решку не так резко где ж я тебя видала ой тараканы а гостиница дорогая моя хорррошая («коррозия металла» или фон другого хита, меняем модуль) ну и мобиль у тебя наверно ешь гоголь-моголь на выдумки хитра ой на работу пора завтра в шесть где цум (шум не поддающийся расшифровке и не принадлежащий двум) мумм не могу ж на улицу в наготе где ж мой прикид от ж.п. готье был поэт не упомяну где в поэме... мальборо нет есть кэмэл... ещё раз в темпе бл... а у тебя лучше чем у нозми кэмбел... ты её поэмил... а у кого лучше чёрт гадкий... у катки у вашей екатерины великой... а ты ей кем был... и когда ты успел их всех... (адский смех) по интернету и нету ваша дама бита... ОЙ, ДА У ТЕБЯ КОПЫТА... а я то думала, что же ты носки не снимаешь, чёрт поддатый... а поцеловать (конец цитаты).

Акт очищения

Среди грязи, несущейся по касательной,
(компроматы сейчас – наградные листы)
я ищу на людей – пока бездоказательно —

компромат чистоты.

Мне не важно, брала ли на лапу земщина.
Но когда под толпу придуряешься Ты
клептоманкой сердец и преступною женщиной —
то тебя выдаёт аромат красоты.

Уголовной Москве хуже нет криминала.
Твое мятное небо абсорбирует мат.
В запотелом зеркале Ренуара —
Твоего присутствия компромат.

Ты с утра штукатуришься, споришь с гребёнкой.
Как дыханье на зеркале – срок наших дней.
Я готов свою кожу нарезать на плёнку,
чтоб дыханье Твоё сохранилось на ней.

За тебя обожаю купаться в грязище.
Говорят – шоумен, академхулиган...
Моя белая куртка становится чище
после грязевых ванн.

Пусть живу я не чище, чем тысячи тысяч.
Но на Страшном суде, ставши в очередь в ад,
доказав Всевышнему аутентичность,
предъявлю за людей чистоты компромат.

Последний акт

Друг мой, товарищ, читающий брат!
Заполни на себя компромат

Читатель(ница)!
Когда не спится. Прими душ.
Обернись газетной задней страницей.
Обернись этой поэмой.
Промокнись компроматом.
Пари над.
Дай прочитать товарищу компрометирующий зад!
Нынче правда стала ложь.
ПРОЧТИ И УНИЧТОЖЬ
Глянь! На посошок минутный
опрометчиво пошел
наши грязные мазуты
компрометирующий снежок.

Неужель ты впрямь, Россия, —
компроматная мессия?!

Почти правда всё и ложь.

ПРОЧТИ
И
УНИЧТОЖЬ

1996

* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.

Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.

Матерком твоим чистым
и толковым уменьем —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновеньем.

Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!

Жемчуга среди щебня.
Ландыши среди хвороста.
Расставаться волшебнее
мотылькового возраста.

1996

ИСПОВЕДЬ МОРДОВСКОЙ МАДОННЫ

Прости, Господь, свободу нашу пиррову!

Поздно, Господь. Прожектора врубили.
Мне дали денег за стриптиз – мешок.
За проволокой лагерь мастурбировал.
По проволоке пропускали ток.

– Давай, давай! – вопили над Россией.
Шёл звездопад. – Давай, давай! —
Аж автомат на вышке разрядился.
И мат татуированных секс-символов
клубился, как девятый вал.

– Давай, давай! – режут лесоповалы.
Им снились семьи, снилось Косино.

– Давайдавайдавайдавайдавайда...
При чём тут Вайда? Шло моё кино.

Я доставала их дистанционно —
аж голубые перековывались!
Ни Пугачёва, ни Мадонна
не испытывали такого.

– Давайдавайдавайдавайдавайда —
им снились их зарезанные свадьбы.
За баб я мстила. Кто-то ржал, кто плакал,
как будто лез на волю по столбу.
Я ненавижу тебя, лагерь.
Ещё не зная, что люблю.

Давай, мой лагерь! Я – твой путь к свободе,
когда душа сквозь тернии, сквозь срам
из тела вырывается, из body,
к Прекрасной даме, недоступной нам.

Мы все – дивайдид вайдавайдавайда,
сливаясь в стоне «шайбу! шайбу! шайбу!» —
покрыла урку Блока бледнота.
В интеллигенте разразился вандал.
Айда, но не понять – куда?
Ай да сеанс! Давайдавайдавайда...
Я ощущаю на себе, грязна,
иного режиссёра под кувалдой
томящиеся в лагере глаза.

Кавказцы, россияне и прибалты,
любите небо, сбросивши ножи!
Летите в тучах, дирижёров фалды!
Динамики, с турбазы подвывайте!
Я отдалась народу под Вивальди.
Искусство – мастурбация души.
Честнее всенародно, чем приватно.
Господь, прости меня и накажи.

Зачем, скажи, для денежного фарта
меня ты отдал дьяволам в ночи?

В тайваньских джинсах, тайной
замордованной,
пройду я, безымянна для людей,
став неизвестной копией Мадонны,
порн – но звезда мордовских лагерей.

Меня потом искали люди зоны,
в мечтах озолотив или зарезав.

Крутились диски телефонов.

Крутились диски «мерседесов».
Дышала ночь острогом сладострастья.
За жизнь я мужиков имела – класс! —
но с ними не испытывала счастья...
Я отвлеклась...

Когда ж прожектор вырубил затейник —
– «набисдавайдавайдавайнабис» —
я подожгла мешок проклятых денег.
Взвыл лагерь. Продолжается стриптиз.

Пылает тело в свете грязных денег...
Паришь дистанционно Ты,
как недоступное виденье,
как гений чистой красоты.

Потом сквозь давку и асфальты
идёшь одна на фестиваль
и слышишь: «Вайда. Вайдавайдавайда
вайдавайдавайдавайдавайдавай».

1996

ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Проживаю в жёлтом доме, в жёлтом доме,
как в кубическом лимоне.
Быт на сломе, газ разболтан
в жёлтом доме, в доме жёлтом.

А за стенкою во внешнем доме жёлтом
оппадают листопадные дензнаки.
по ночам мои окошки светят золотом,
потому что они тёмные с изнанки.

Ко мне утро сквозь фрамуги
жёлтой женщиной влетит.
Обо мне в лесах округи
пресса жёлтая шумит.

Чаадаевской картошки понарою.
Волчьей ягоды нажреть до тошноты.
У коров наших диагноз «паранойя».
Я достаточно орал Савонаролой,
я спасаюсь шоком тишины.

В том доме, в тёмном томе,
записал я Твою речь
против света, в полудрёме,
с золотым обрезом плеч.
В этом двухэтажном доме
я любил. А что есть кроме я?

Остальное лжёт.

Скомкана салфетка в тоне.
Жёлт, жёлт —
между красным и зелёным,
меж закатом и газоном,
как глазунья, в невезучий
переходный жизни час,
предзакатное безумье,
жёлтый глаз мигает в нас.

Хоть надень на солнце шорты!
Не укрыться охламонам.
Век зажётся кофтой жёлтой,
завершился жёлтым домом.

В желчном зеркале, из рамы,
озирая мой прикид,
не белками, а желтками
рожа мерзкая глядит.

Прыгнуть бы с «Песней о Соколе»,
с крыши, проломив крыльцо!..
Но за горло держит цоколь
цокольцокольцокольцо.

Мы все пациенты, особенно врачи.

Кто расшифрует.....

*Подписывайтесь
на «Письма из Жёлтого дома»*

Полосатый, как батоны,
тёплый кот на стол залёг.
Вдаришь в стенку – на ладони
сыплется яичный порошок

жёлтый, жёлтый, как тяжёл ты,

да пошёл ты,....!

Пациенты лезут в форточку по жёлобу.
Пишут письма мне потом.

Адрес точен, как жетон:
Россия. Жёлтый дом.

1996

БЫЛИНА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель
всем транслирует, дебил,
как он Дудаева убил.
Я читал в одной из книг —
Мобель дик!..»

– А Мадонна из Зарядья
тройню чёрных родила.
«Дистанционное зачатие», —
утверждает. Ну, дела!

Ну, Мобель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нём.
Нажму кнопку – кто-то трезвый
говорит во мне: «*Приём.*
Абонент не отвечает или временно недоступен
звону злата. И мысли и дела он знает наперёд...»
Кто мой Мобель наберёт?

Секс летит от нас отдельно.
жизни смысл отстал от денег.
Мы – отвязанные люди,
без иллюзий.

Мобеля лауреаты
проникают банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывёт.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе её соски.

*Если разговариваешь более получаса —
рискуешь получить удар
самонаводящейся ракетой.*

– *Опасайтесь связи сотовой.*
– *Особенно двухсотой.*
– *Налей без содовой.*

Даже в ванной – связи, связи,
запредельный разговор,
словно гул в китайской вазе,
что важнее, чем фарфор.

Гений Мобеля создал.
Мобель гения сожрал.
Он мозгов привносит рак.
Кто без мозгов – тот не дурак.

Расплодились, мал-мала,
одноухие зайчата...

В нашей качке те, кто круче,
ухватясь за зов небес,
словно держатся за ручки.
А троллейбус их исчез.

«Мо», – сказал Екклесиаст.
Но звенят мои штаны:
«Капитализм – это несоветская власть
плюс мобелизация всей страны».

Чёрный мебель, чёрный мебель
над моею головой,
нового сознанья модуль,
чёрный мебель, я не твой!

– Не сдадим Москву французу!
– В наших грязях вязнет «Оппель».
Как повязочка Кутузова,
в небесах летает мебель.
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Слепы мы.
Слепо время само.

Был бы у Татьяны мебель,
то Онегину бы, кобелю,
не писала бы письмо.

1996

* * *

В нас Рим и Азия смыкаются.
Мы истеричны и странны.
Мы стали экономикадзе
самоубийственной страны.

1997

ВETERAN

Кому ты нужен, мужичок, кому ты нужен?
Ты бил ладонью в мозжечок. Был перегружен.

Кому-то нужен твой кулак, кому ты нужен?
Державе, потерявшей флаг и затонувшей?

Обрубок двадцати двух лет
на самокатке,
ты, словно карточный валет,
верней – полкарты.

Тебя порвали шулера.
Что загадал ты?
Держава, что была вчера,
сама – полкарты...

Кому ты нужен, полвальта? Сгорел «Ильюшин».
Над раскладушкой, сволота, висят иллюзии.
Ни в МУР, ни в школу киллеров.
Душа контужена!
Засунут спьяну Гиляровский под подушку
без наволочки. Бьёт сосед тебя, как грушу...

Но где-то, как рассветный сон над Гиндукушем,
есть одинокая душа, кому ты нужен.
Не накопила ни шиша, одни веснушки.

Кому ты, милая, нужна, с такими данными?
«Ты мне нужна. А кто не “за» —
получит санкцию
ножа десантного.
Прости. Прорвёмся. Сдюжим...»

Жизнь – шанс единственный найти,
кому ты нужен.

1997

УЛЁТ 1

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
Боже отпусти на не

ель наденет платье диз
фаны видят мой наф-на
и на крыше нафтали
Боже отпусти на не

не мелодия для масс
чево публику пуга
Зыкина анти му-му
Боже отпусти на не

тятя тятя наши се
цаца папа ца мертве
Леннона проходят в шко
Господи пусти на не

до свидания бельмон
инактриса пошла к
зонцы выбирают барби
Нику дали шизофре

рновскую вкушают СМИ
ад пусти меня на зап
да хотя бы в пику
enthusiasm это kitch

оба сели в свои вольв
мент проверил их доку
оказались безрабо

ердие безрукой Милос
тронь фонариком мне ну
много в человеке те

политически ужо
единенье каждый раз
сколько жён/ударов в мин
я кричу что гибнет Росси

Боже отпусти на не

лампа-жизнь разбилась попо
ты не оправдала меч

Боже отпусти на не

1997

УЛЁТ 2

манит в дорогу ту
дьявол или Госпо
дамочка шла по во
гала-загадка ша

духу можно по воз
зяме по воздуху нель
знание это собла
гала-загадка Бо

тетъ разреши уле

за волгу нужна ви
военный и тот раздво
шиш куда улети
любимая хочет пу

на тишине шума
in cша улетает кис

лампочками мига
гала-загадка Бо

рэмбо правнук рембо
боди душу осво
милая сердцем пой
гала-загадку Бо

тает в лобовом стекле
тайный ангел не уле

шкаф плывёт когда я лягу
ревность вызывает птица

отекаешь после диск
гала-притяжение Бо

инакомыслие заскока
тает подо мною ле
«итит твою – шепнут – улет
ета ваши-то лета»

ганушкин сказал а хули
мы навеки подсуди

тает в августовском гуле
анаграмма леди Ди

1997

ДРЕВО БО

I

Босой, с тоской на горбу
земных свобод и табу,
приду к тебе, древо Бо,
где медитировал Бу.

Корни, как змей клубо,
плели и мою судьбу —
недосказанное Бо,
недопонятое Бу.

Ветки его раскидистые, как трубы теплоцентрали,

мешали табу и тубо.
«У» поднимало хобо.
Бу мычали: «Бо дай!»
Жабы дышали в жабо.
Под древние «буги-вуги»
выпархивали незабудки на Гоголевский бу
Болыжники играли в волейбо
Буди-гард проверял альков.
И тыщи зелёных часовенок
вонзались шпильями в небо.
Это были листья Бо.

Мы спрессованы в толпу,
будто спичек коробо
недосказанное Бу.
Неопознанное Бо.

Как корзина баскетбо
окольцован шейх на лбу.
«Бабы – не созданье Бо» —
как учил великий Бу.

В третий глаз гляжу – в пупо,
как в подзорную трубу.
Недодуманное Бо.
Неразбуженное Бу.

Конь в пальто всё ждёт Годо.
Кар чернеет на дубу.
Неразгаданное Бо.
Недодуманное Бу.

Наш философ из сельпо
все буробит про борьбу.
Я люблю твою губу
с песенкою «Се-си-бо».

Англосакс сказал: «рейнбо».
Шантеклер сказал «Рембо».
А скинхед поправил: «Рэмбо»
и подал своё ребро.
На дворе Армагеддо.
Люди смотрят бельмонду.
Под невозмутимым Бо
медитирующий Бу.

Мы рассыпаны, как спички,
возлежим под древом Бо.
В рассеянное небо
обленилось нас поднять.

Женщина, роняя шпильки,

возлежит трезва, как Спилберг.
Она нам не возражает.
Просто родила Бу.

2

Сидели четыре Бу.
Но главное было «Будто».

Погода тиха – будто пагода.
Бесконечность – будто бурунду.
И всё будто пело и плакало,
как музыкальный сундук.

Нам будущим было «Будто»,
вчера и сегодня – Бу.
Мы даже живём как будто,
но это театр Кибу.

Уличные бутоны
задумались об оргазме.
И слон в ушах, как в будённовке,
мечтал о противогазе.

Ты будто меня не забудешь,
когда не будет меня.

И листья, что вниз глядели,
чтобы вонзаться в небо,
имели, как виолончели,
в задничках остриё...
Я опять за своё.

Бабка в деревне нашей,
нас вынеся на горбу,
будто царевна спящая
в целлофановом спит гробу...

3

Две тыщи триста лет
познание сквозь нас росло.
Монах нас ведёт – Скинхед,
сияющий, будто дупло.

Народы, сняв свои тапочки,
поняв, что спилить слабо, —
желаний цветные тряпочки
вешают вокруг Бо.

Сакс сказал: «Tree Во».
Баян поправил: «Стрибо».
Скинхед послал на три бу
и вывесил свои атрибу.

Меж них свой шейный платок
я вывешу, как мольбу.
И в небе каждый листок:
«Мама! – кричит, – бо-бо!»

1999

СТЕНА ПЛАЧА

1

Так же жили – подмывшись, намыкавшись.
Но божественное стряслось!
В старину не брили подмышки,
не стыдились нахлынувших слёз.

Почему я неумоимо
прихожу заветной порой,
где над ярусным Иерусалимом
взмыл рассвет за Масличной горой?

Этот ветхозаветный камень
старомоднее, чем Христос,
розовеющими пучками —
островками травы пророс.

И пока мы судьбу вымаливаем,
расцветают слёзы громад —
между клумб вертикальных мальвы
ароматы свои струят.

Игнорировавши промышленность,
Стена Плача, смысл бытия,
нам, по-женски дымясь подмышками,
раскрывает объятия.

2

Комнатушка моя – не
отель «Плаза».
проживаю теперь в стене —
Стене Плача.

Взявши шапку напрокат,
птичьим писком,
как кредитку в банкомат,
сую записку.

Здесь не допекает гнус.
Слёз не пряча,
лбом отчаянно уткнушь
в Стену Плача.

Это только для мужчин.
В отдаленье
опускаюсь в глубь причин
машинного отделенья.

Ливень. Дача. Пастернак.
Срам и слава.
Руки к небу простирай,
Ярославна!

Ты, распятая страна,
муза, прачка,
моя пятая стена —
Стена Плача.

Не страшна стена угроз,
стена смеха.
Неприступна стена слёз,
крепость эха.
И твой хлюпающий нос
среди меха.

Нету крыши. Дефицит
пенопласта.
Нас с тобою защитит
Стена Плача.

3

Измерь мою жаркую жизнь перстами
на ошупь, как гусеница-землемер.
Что я сумел – перед Тобой предстанет.
И что я не успел.

Пока ещё небо не стала мерить
креста измерительная щепоть —
наставь моё сердце прощать и верить,
Господь!

1997

ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ...

Отпевали Детонатовича в закрытом гробу.
Как пантера, сидит телекамера у оператора на горбу.

Последнею хохмой чёртовой печалю иконостас,
Мария повязку чёрную повязала ему на глаз.
Пиратские череп и кости прикрыли зрачок его...

Упокой душу, Господи, усопшего раба Твоего.

А он отплывал пиратствовать в воды, где ждёт Харон.
Сатана или Санта-Мария встретят его паром?
Изящные череп и кости, скрещённые внизу,
как на будущий паспорт, лежат на его глазу.

Стилист? хулиган? двурушник?
Гроб пуст. В нём нет никого.

Упокой душу, Господи, усопшего шута Твоего.

Спасли меня в «Новом мире» когда-то пираты пера.
А вдруг и тогда схохмили? Всё это теперь мура.
Земли переделкинской горсточку брошу на гроб его.

Упокой душу, Господи, духовного бомжа Твоего.

Вы выпили жизни чашу, полную денатурата.
Литература частная, вздохни по Андрею Фанатовичу.

Успокой, Господь, нашу агрессию,
гордынь мою успокой,
успокой страну нашу грешную, не брось её в час такой!

Время шутить не любит. Шутник, уйдя, подмигнул.
А вдруг не ошибся Лютер, что Богу милей богохул?

Упокой душу, Господи, усопшего Абрама Твоего.

Греховничая, кусошничая, хранит в себе божество
интеллигенции горсточка, оставшаяся в живых...

Упокой души, Господи, неусопших рабов твоих.

Париж, Сергиево подворье, 14 марта 1997

ХРАМ

На сердце хмара.
В век безвременья
мы не построили своего храма.
Мы все – римейки.

Мы возвели, что взорвали хамы.
Нас небеса ещё не простили —
мы не построили своего храма.

В нас нету стилия.

Мышки-норушки,
не сеем сами.
Красой нарышкинской, душой нарушенной,
чужими молимся словесами.

Тишь в нашей заводи.
Но скажем прямо —
создал же Гауди молитву-ауди.
Но мы не создали своего храма.

Не в форме порно.
Но даже в сердце
мы не построили нерукотворной
домашней церкви.

Бог нас не видит.
И оттого
все наши драмы —
мы не построили своего
храма.

1997

МОРЕ

Проплыву, продышу, проживу брассом.
Проплыву, проживу, пролюблю кролем.
Под моей треугольной рукой-мордой,
словно конь под дугой, вырывается море.

Я люблю тебя, море, за то, что ты есть, море.
Лишь заввижу тебя, сразу хочется снять шмотки.
Мы любовники, море. Встречаемся мы голыми.
Как в любовь или смерть. Мне милее любовь, море.

Заплываю в зелёную страсть с мола.
Миром правит amour. А иначе берут Смольный.
«Nevermore» – над Венерой кричит ворон.
«More ещё, ещё more» – отвечает моё море.

То ты – Моцарт, а то корабли мочишь.
Я к тебе прилечу – в меня бросишь сервиз, Мойра!
Кто позволил тебя у России отнять, море?
Ты из нашего мора, вздохнув, эмигрируешь, море.

Проживу, прохриплю, продышу смогом.
Смою хлоркой московской из пор твой запах.
Моё сердцебиенье кому ты отдашь завтра?
Я люблю тебя, море, за то, что ты есть Море.

1997

ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды – шаландышаландышаландыша —
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всюю командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее Russian, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писсуары Марсея Дюшана
Белели талантливо. Но не точно.

И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающей до позвоночника.
И шёпот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

1997

СПАСИТЕ ЧЕРЁМУХУ

Спасите черёмуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервлённые.
Вы в них целовались. Летят циферблаты.
Спасите черёмуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина.
Мы без черёмухи – не Россия. Спасите черёмуху.

Зачем красоту пожирают никчёмные?!
К чему, некоммерческая черёмуха,
ты запахом рома дышала нам в щёки,
как тыщи волшебных капроновых щёточек!

Её, как заразу, как класс, вырубают
под смех зачумлённый.
Я из солидарности в белой рубашке
сутуло живу, как над речкой черёмуха.

Леса без черёмухи – склад древесины.

Черёмухи хочется! Так клавесину
Чайковского хочется. К вечеру сильно
и вкладчице «Чары», и тёлке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,
опаутиненной до Охотского,
черёмухи хотца, черёмухи хотца...

Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черёмуху!

Придёт без черёмухи век очерёдный.
Себя мы сожрали, чмуры и чмурёнихи.
Лесную молитву спасите, черёмуху!
Спаситесь черёмухой.

1997

ПРОЩАЙ, АЛЛЕН...

Не выдерживает печень.
Время – изверг.
Расстаёмся, брат мой певчий,
апен, Гинсберг.

Нет такой страны на карте,
где б мы микрофон не грызли.
Ты – в стране, что нет на карте,
брат мой, призрак.

Нет Америки без Аллена.
Удаляется без адреса
лицо в жуткой бороде,
как яйцо в чужом гнезде.

Век и Сталина, и Аллена.
Шприцев стреляные гильзы.
Твой музон спиритуален,
Гинсберг...
Призраки неактуальны.
Но хоть изредка

дай знать мне иль Бобу Дилану,
чтоб потом не потеряться.
Ты – в пространствах дзэн-буддизма,
я – в пространствах христианства.

Слыл поэт за хулигана,
бунтом, голубою клизмой...
С неба смотрит Holy angel —
Ангел Гинсберг.

1997

ШКОЛЬНИЦА

Ревёт метро, как пылесос.
Бледнеют взрослые, как монстры.
Под кокаиновой пылью
дрожали ноздри.

И это крылышко с брильянтом,
и ноздри с белым ободком
притягивались хоботком
к беде, сладчайшей и приватной.

К чему фальшивые жемчужины?
Уже поехал потолок.
И лобик, мыслями замученный...
Лети, мой падший мотылёк!

Не вызывайте скорой помощи!
Тот хоботок неумолим.
И ноздри с чуткою каёмочкой...
Ах, окаянный кокаин!

Летишь от наших низких истин,
от туалетного бачка —
небесная кокаинистка,
набоковская бабочка!

1997

«ОКТЯБРЬСКИЙ»

Четыре тыщи душ мерцают, вроде мошек.
Смущает странный свет
наш нищенский общак.
Четыре тыщи лиц я обдаю, как мойщик.

Читаю на мощах.

Читаю на мощах времён кардиограмму.
Шаги мои трещат
от радиации погубленного храма.
Мы строим на мощах.

Построен на мощах «Октябрьский» зал концертный.
Рыдает валторнист.
Фундамент сохранив, снёс Греческую церковь
Хрущёв волонтарист.

При имени глупца ты нос смешливо морщишь.

Зал искристый, как брют.
Скажу я проще: будущие мощи
священнодействуют.

Живых, как трупы, топчем мы сегодня.
Любой кумир – мишень.
Неужто трудный путь наш в преисподнюю
мощами вымощен?

Кошунствует попса. Беретта женщин мочит.
«Шируйтесь натошак!»
Но освящают нас смущающие мощи.
Читаю на мощах.

1997

* * *

Плачь по Булату, приبلудшая девочка,
венки полевой нацепив на ограду.
Небо нависло над Переделкиным,
словно беззвучный плач по Булату.

Плач по Булату – над ресторанами
и над баландой.
И на иконе у Иоанна —
плач по Булату.

Плачет душа, как птенцы без подкорма,
нет с нею сладу!
В ландышах, с запахом амбулаторным —
плач по Булату.

1998

СМЕРТЬ КЛАВДИЯ

Гамлет, сынок мой, отцеубийца,
ты не узнаешь, как «Тень Отца» —
братец мой, отрубился на свадьбе —
с матерью мы тебя спьяну зачали.

Ради тебя я женился на властной невестке,
брата убил, страсти к сыну заложник.
Чтоб тебе стать всеглобально известным,
мальчик мой, вынь своё сердце из ножен!

Личностью стань, не рифмуйся с молочной яичницей!
взвей рукава чёрным ландышем кладбища!
Трагедии Гамлета – почётные грамоты.
Всем наплевать на трагедию Клавдия.

Скроет отец преступление сына.
Я повторяюсь в твоих генах инкогнито.
Ах, как от матери пахнет жасмином!
Лишь бы тебя твои дети не кокнули.
Я дядя сына? Отец анонимный?
Яд... яд... ядядя... я... Это – икота.

Как без меня ты на этом свете?
Даже проститься нам воспрещают.
Поторопись быть в университете.
Учись, мой сын. Науки сокращают.

Я упаду. Послушай гул столетий.
Ты надо мною, музыкант слепой.,
сыграй на флейте – laterlaterlater —
всё человечество потянешь за собой...

Входит клинок твой в сердце отцовское
Браво, сынок! Узнаю свою руку...
Мать не бросай... Разберись с полоумной отсоскою...
Не дли муку!

Призрака встречу – трансинтеллигидельный юмор
я оплачу.
Царствуй, сын, справедливо, но в меру
мерумерумерумерумерумер

(Умер.)

1998

МИНЧАНКА

И. Халип

Ирина, сирена Свободы,
шопеновской музыки,
забьют тебя до стыдобы
бронированные мужики.

По телику шлемы и шабаш.
Свалив на асфальт, скоты,
«Шайбу! – лупили – шайбу!»
Но шайбочка – это ты.

За что? что живут не слишком?
за то, что ты молода?
за стрижиную твою стрижку,
упавшую, как звезда?

Ты что-то кричишь из телика.
Упала, не заслоняясь.

Отец твой прикрыл тебя телом.
А я из Москвы не спас.

И кто на плечах любимых
твоих, Ирина, плечах,
почувствует след дубины?
Ты ночью начнёшь кричать.

Лицо твоё вспухло, как кукиш,
Губы раскровеня...
Ты встретишь меня. Поцелуешь.
А надо бы плюнуть в меня.

1998

* * *

Памяти Г. С.

Розы ужасом примяты.
На морозе речь охрипла.
Игровые автоматы
озверевшего калибра
на канале Грибоедова
сбили женщину навывлет...
Золотую беззаветную
веру хорони, Россия!
Власть уходит к гробоведам.

В себе Господа мы предали, —
автоматы игровые.

21 ноября 1998 года

ПАРАШЮТ

Зачерпывая стропами,
повсюду не из праздности
на вкус я небо пробую,
небо – разное.

Турецкое – с сурепкою,
испанское – опасное,
немножко с мушкой шпанскою,
над Волгой – самогонное,
похоже на слезу.
Цимлянское – мускатное.
Кто, в прошлом музыканточка,
задела неприкаянной
душою по лицу?

Зачем я небо пробую

над тропкой психотропную?
Чем ангел мне обмолвится?
Вам не понять внизу.

Владимирское – вешнее,
что пахнет головешкою.
Попробуешь – повесишься...

Но я и так
вишу.

1998

* * *

Иду по небу на парашюте.
катапультируйтесь из нашей жути!

Лишь тень оранжевая, скользима, —
бросает корки от апельсина.

Я ног не знаю, я рук не знаю.
лишь рвут предплечья ремни-гужи —

счастливый ужас парасознания,
абсолютной парадуши!

ОТСТЕГНИТЕ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ!
Иду минуто
без парашюта
элементарно, как до-ре-ми.

Чайку подошвами не примни.
Мне не ответил Пётр за дверьми.

Как голуби мира, грязны мои кеды.
Бонжур? Покедова!

Я понял истину, живя все годы:
где Кант, где Шеллинг, где дождик сеет —
не может быть на земле свободы.
Переходите на парасейлинг!

Где наши семьи? и где «Дом Селенга»?
Лишь свист осеннего парасейлинга.

Внизу фигурка идёт по водам.
А хочешь – по небу походи.
Являйся небу, забудь заботы
над морем утренним в бигуди...

Какое небо под пяткой резкое!

И стало видно до древней Греции,
где купол неба над водной пряжею,
над человечеством овноедов —
парасознанием несёт напрягшимся
онемевшего
Ганимеда.

1998

* * *

Вот и сгорел, вроде спутников,
кровушки нашей отведав,
век гениальных преступников
и гениальных поэтов.

1998

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь:
«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя ангел-зверёныш?
«А ты меня помнишь? —
твой голос настаивал, стонущ и тонущ:
А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?»
И ухало эхо во тьме телефонищ —
рыдало по-русски, in English, in Polish —
you promise? astonish... а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?
И нос твой, напудренный утренним пончиком?
В ночном самолёте отстёгнуты помочи, —
вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:
А ты меня...
Помнишь? Как скорая помощь,
в беспмятном веке запомни одно лишь —
«А ты меня помнишь?»

1998

ДОМОЙ!

Пора! Дорожки свёртывают море.
Домой – к Содому и Гоморре.

В приливе чувства безутешного
с тебя подводная волна
трусы снимает, словно женщина.

С тобой последний раз она.

1998

* * *

Тьма ежей любого роста
мне иголками грозила.
Я на дух надел напёрсток.
Жмёт, конечно. Но красиво.

1998

* * *

Есть в хлебном колосе,
в часах Медведицы —
не единица скорости,
а единица медленности.

Спешат, помятые,
летят режимы,
но миг – понятие
растяжимое.
Кайфуя в фугах,
спешите медленно,
найдя в Конфуции
монады Лейбница.

Скорость кометная
станет комедией.
когда ты медленно
глядишь как медиум.

В дыханье пахоты
у перелеска
есть мёдом пахнувший
зевок релекса.

Смысл – в черепахе,
не в Ахиллесе.

И нечто схожее
в любви имеется —
не в спешке скорости,
а в тайне медленности.

1998

«ПТИЧИЙ ЦИРК»

Клоун обхохотался кубарем.
Опупела публика —

Класс!

– Шампаневича бы откупорили.
– В цирке ласточка завелась.
– Хулиганом небось подкуплена,
дебютантка, малыш, под куполом
о п о з о р и л а с ь!

– Чай, отечественное слабительное,
на английское денег нет...
Как прожектора сноп, в обители
очистительный брызнул свет.

Ржанья публика не сдержала.
Оборжался пиджак в дерьме.
Умирала до слёз Держава,
опозорившаяся в Чечне.

Тяжко жить. К чему обличенья?
Всё ложится на женские плечики.
Облегченья нет, облегченья!
Ты облегчилась.

Тяжек гнёт, тяжела свобода.
Даже, может – потяжелей.
Что естественно для природы,
неестественно для людей.

Понимали её, естественно,
лев, пичуга и конь в пальто.
Где невольная дочь протеста?
Где она? Не знает никто.

Она птицею улетела.
Она ласточкою была.
Птице нет никакого дела
до условных добра и зла.

Я видал, как сверкнули крылышки —
чирк!..
С той поры шапито под крышею
называется «Птичий цирк».

1998

БЕЖЕНКА

Беги, беги, беженка,
на руках с грудным!
На снежной дорожке бежевой
не столкнись с крутым.

Греби, греби, беженка,
к поезду, бегом.
Беги, беги, белая
берёза за окном!

Под крики «Бей черножопых!
Бей русских! Бей христиан!» —
кружись полосатым крыжовником
зелёный Таджикистан.

Бедствие! Нет убежища.
Гоним к берегам другим,
ладошкой южнобережной,
махнув, убегает Крым.

Вьюгою центробежную
рвёт нас до тошноты.
Ты – ближнее зарубежье,
и дальнее – тоже ты.

Беги, беги от группешника,
сердечка уставший ком,
несись, спотыкаясь бешено,
по снегу босиком!..

Ротвейлером из «лендровера»
ирод рычит: «Атас...»
Беги, беги, родина,
в ужасе от нас!..

Беги, беги, беженка,
беги, беги, бе...
Беги, беги, чудо Божие,
беги, беги, Бо...

Над лугом погибшим Бежиным,
по небу, в облаках
бежит от нас Божья
беженка с ребёночком на руках.

1999

* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ощупь. Ты меня очень...
Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.
Чмо нас замочит. Город нам – отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...
Лето ли осень, всё фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999

* * *

Наши трапезы – сладострастные,
кулинарочка ты потрясная!

Ты вбежишь, только скажешь: «Здрасьте!» —
умираю от сладострастья.

Воздух утром дрожит над прясами
целомудренным сладострастьем.

Полосатый арбуз матрасный
скоро лопнет от сладострастья.

Отдавайтесь до обладания.
Заплывайте в любовь не в ластах!

Сладострастие сострадания.
Сострадание сладострастья.

Ты написана белым фломастером,
пахнешь сном и зубною пастой.

Твоя пятка – туз пятой масти.
Можно спятить от сладострастья!

Как я в жизни пролоботрясничал,
выяснял отношенья с властью...

От невзгод наших спрячусь страусом
в твоё белое сладострастье.

1999

ТЕРРОРИСТ ДОБРОТЫ

Подобно антенке сотовой,
поэзии стебелёк
растёт поперёк горизонта,
общественности поперёк.

Ты был агрессивен крайне
меж общества немоты.
Теперь средь всеобщей брани
ты – террорист доброты.

Одинокие твои муки
не ведал телеэкрэн.
Неверующие мухи

питались из твоих ран.

Под радостный вой округи
ты муки с крестом сверял,
где в горизонтальные руки
вонзался перпендикуляр.

1999

* * *

Беззвучный цвет – весь состоит из звука,
в нём слышится небесная разлука.
От этих мук Ван Гог отрезал ухо.

Пустынный дом наполнен голосами,
они поют и пахнут круассаном,
прислушайтесь – кайф колоссальный!

Как медленно ползёт стрела из лука!
Скучна мне скорость света или звука.
Лишь скорость мысли – сказочная штука!

Казука молча фору даст базукам,
не без харизмы распевает щука,
и я, безукоризненная сука,
бужу тебя любовью, а не звуком.

1999

* * *

солнце чёрное и красное
нега нега негативная
река река кареглазая
снега снега негасимые

1999

ХОРОШО!..

На спине плову устало.
Холодочек за спиной.
Зной пронзает золотой,
словно клипы «Суперстара»...

Хорошо, что ты не стала
моей вдовой.

1999

ПЛОВЕЦ

Дай мне выплыть из бездн. Я забыл тебя, брасс.
Руки-ноги мертвы, бл...
Дай мне, Господи, выплыть единственный раз.
Дай мне выплыть.

Я любил в чёрной шапочке, как Фантомас,
вздыбить лыжами Припять.
Брасс мой, брат мой, предавший товарища брасс!
Дай мне выплыть.

Доигрался, «играющий чемпион»?
Рыбки детская киноварь
поумней, чем заносчивый черепок,
дай мне вынырнуть.

Сколько всплыло дерьма! Ты одна, как луна,
тянешь в жизнь. Неужели
оказалось сильнее притяжение дна
твоего притяженья?

Что-то стало со мною и со страной?
Жизнь – без выплат...
Изумрудная чайка над тяжкой водой,
дай мне выплыть!

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ СЛОВ ХРИСТА»

Нам предзакатный ад загадан.
Мат оскверняет нам уста.
Повторим тайно, вслед за Гайдном,
последние семь слов Христа.

Пасхальное вино разлейте!
Нас посещают неспроста
перед кончиною столетья
прощальные семь нот Христа.

Не «Seven up» нас воскресили.
В нас инвестирует, искрясь,
распятая моя Россия
the seven last words of Christ.

Пройдут года. Мой ум затмится.
Спадет харизма воровства.
Темницы распахнет Седмица —
последние семь снов Христа.

Он больше не сказал ни звука.
Его посредник – Красота.
Душа по имени Разлука —
последнее из слов Христа.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Я приду к тебе в чёрной мантии,
в чёрных джинсах – привет фарце!
Все пощёчины, как хиромантия,
отпечатались на лице.

Я приду к тебе в мантии чёрной
и в Малевиче набекрень.
Ты раздвинешь меня, как шторы,
начиная свой новый день.

1999

ЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО

В Зале Чайковского лгать не удастся.
Синие кресла срываются с круга —
белой полоскою, как адидасы.
Здесь тренируется Сборная духа.

Люди поэзии, каждую осень
мы собираемся в Зале Чайковского.
В чёрных колечках пикируют осы
к девочке в стрижечке мальчуковой.

Государство раздело интеллигенцию
почти догола, точно в Древней Греции.
Климат не тот. Холодает резко.
В плюшевых креслах согреем чресла...

Сытый толкает тележку с провизией,
родине нищей сочувствие выразив.
Цензоры с визгом клянут телевизоры,
не вылезая из телевизоров.

Гарри, сфугуйте над горькою оргией!
Не обеспечивают охрану
правоохранительные органы.
Может, спасёт нас молитва органа?

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра в обстановочке холода.
Не проиграй её, Сборная духа.

1999

ЭПИСТОЛА С ЭПИГРАФОМ

*Была у меня девочка —
как белая тарелочка.
Очи – как очко.
Не разбей её.*

Ю. Любимов

Ю. П. Любимову

Вы мне читаете, притворщик,
свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссёр, Юрий Петрович.
Но я люблю Вас как поэта.

Когда актёры, грим отёрши,
выходят, истину поведав,
вы – божьей милостью актёры.
Но я люблю вас как поэтов.

Тридцатилетнюю традицию
уже не назовёте модой.
Не сберегли мы наши лица.
Для драки требуются морды.

Таганка – кодро молодое!
Сегодня с дерзкою рассадой
Вы в нашем сумасшедшем доме
решились показать де Сада.

В психушке уровня карманников,
Содома нашего, позорища,
де Сад – единственный нормальный.
И с ним птенцы гнезда Петровича.

Сегодня, оперив полмира,
заправив бензобак петролем,
Вы придуряетесь под Лира.
Но Вы поэт, Юрий Петрович.

Сквозь нас столетье просвистело.
Ещё не раз встряхнёте Вы
нас лебединой песней – белой
двукрылой Вашей головы...

То чувство страшно растерять.
Но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали Театр,
а в Вас угробили Поэта.

ЖЕМЧУЖИНКА

Очнись, жемчужина – моё тайное
национальное достояние.
Нас разделяют не расставания —
национальные расстояния.

Глаза выкальывая стамескою,
плача над беженкой Кустаная,
мы – достояние Достоевского,
рациональное отставание.

Мы, как никто, достаём свою нацию,
стремясь то на цепь, то на Сенатскую.
А ты живёшь иррационально —
глазами отсвета цинандали.

Душа в подвешенном состоянии,
как будто чинят «жигуль» над ямою.
Вокруг всё тайное стало явное,
в тебе всё явное станет тайною.

То сядешь с теликом на ставку очную,
а то в истерике дрожишь до кончика.
Живи, как хочется, ну, а не хочется —
«Вот дверь, вон очередь...»

Я плач твой вытер. Сними свой свитер.
Не рвись в Австралию и Германию.
Я не хочу, чтобы ты стала —
интернациональное достояние.

1999

ПРОЩАНИЕ С МИКРОФОНОМ

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут – двадцатый век.
Я ухожу со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки nota bene,

и одиночества орда —

вы все уходите туда, —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменой.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для неё рождён.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные лёгкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решёток!
Скучна
мне сцена разрешённых.

К тебе приду ещё не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я ухожу со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с чёрной точкою желток,
который станет птицей.

1990-е

* * *

Ко мне юнец в мои метели
из Севастополя притопал.
Пронзил наивно и смертельно
до слёз горчащей рифмой «тополь».

Вдруг, как и все, я совесть пропил?!

Крым подарили – и не крякнули.
Утопленник встаёт, как штопор.
На дне, как пуговицу с якорем,
мы потеряли Севастополь.

1999

ИРРЕАЛИЗМ

Жил-был иррационал,
не познал в зажиганье искры,
но знал,
сколько ангелов умещается на конце иглы.

Узелок мне на память нашейный
завяжи! Мы услышим в глуши,
как происходит
иррационально-освободительное движение
души.

Как башня III Иррационала,
пружина кресла торчит из мглы.
Иррационалисты всех стран, добро пожаловать
на конгресс на конце иглы!

Пусть солдат в своём ранце, как рацию,
носит маршальский радикулит.
Коты летают. Царит иррацио.
Время назад летит.

Живём без гимна. Утешусь малым.
Неясной знаю тоской,
что с Иррационалом
воспрянет род людской.

1990-е

РАУРА *Двухтысячные*

ru
Поэма
Первое посвящение

Я вышел в сайт. Он резонанс собора
напоминал. Он полосат. Плыву.
Я вышел в сайт. За зубьями забора
Благоухали вирусы «love you».

Я вышел в сайт. Он был куда реальней,
чем зоосад наш или же «Моссад».
Плыл Моцарт вверх ногами на рояле —
мой сайт.

Я вышел в сайт. Пельмени, как Сатурны,
лица касаясь, в космосе висят.
Надежда, что казалась авантюрна, —
мой сайт.

Я вновь благодарю Тебя, Всевышний,
что в сатанинский рай, точнее, в ад —
мне стало душно в комнате – я вышел
в Твой сайт.

А если вас, ушибленных, досадит
вниз головой фасад,
не приходите поиграть в наш сайтик —
в мой сайт.

Я – сальто перевёрнутой отчизны.
Я – старый клоун. В клюкве, не в крови.
Устали люди от зачистки.
Я вышел в чат. Страна, поговори!

Ты, ставшая любовью моей жизни,
определяешь жизнь моей любви.

Второе посвящение

Тебя не сберегли.
Я в душу собираю
седьмую часть земли
с названьем кратким – ги...

Третье посвящение

– ги, куда несёшься, дай ответ!
– В Internet!

Чат 1

Только выбегу поутру,

с горки с выгибом посмотрю:
за Рублёвским шоссе – ru,
и в брусничном бору – ru...

Коррупцированная ru,
поруганная моя ru,
рулевая моя ru
с кликом Врубеля в миру!

Хорошо ступать на грабли!
Считываю на ветру
смысл кардиограммы – дабл'ю —
www.ru.

Я люблю три дабл'ю ru,
www – три струга Рюрика?
и гармошка ввечеру?
33 коровы? – вру! —
три короны и секьюрити —
ЦРУ и ГРУ.

Нас ru-банки
обстругали, как рубанки.
Моя белая рубаха
ночью по небу летит —
мессианскими ru Баха
дирижируя навзрыд!
Ru – бяка?
Хороши Нью-Йорк, Бейрут и Каунас —
но нигде так не воруют, как у нас.
Как ругаем мы себя за рубежом!
Зато веруем. И душу бережём.

www.зарубежье. ru
www.группировка. ru
www.трубадуры. ru
«Раздолблю!» – вопит дура ru.

Чит 2

Государствами правят кухарки.
Молодые бегут в интернет.
В заколдованной доблести хакера,
в тайне смеха – позорного нет.

Что в сердечке твоём, моя хакерша?
дочка ru? выпускной спецкласс?
Утомившийся хризопраз.
Несмотря на защитные хартии,
устают хрусталики глаз.
Ползарплаты – на парикмахершу,

ты победно, как будто картуши,
носишь локоны: «Смерть фуфлу!»
Что ж, листая странички Harpers'a,
дышишь тяжело, будто Фру-Фру?
В твоей кардиограмме, хакерша —
www.господи!ru

www.Гор. Пушк. б-тека. ru
www.русская рулетка. ru
www. «Курск». ru
Или скурвились гуру?

Чит 3

Осторожно!
Бокалы не кокните —
слепки с бюстов Антуанетт.
Интерьеры terra инкогнита
называются Internet.
Что хотел, как яйцо, бритый гладко,
ваш компьютерный инженер?
Видно, всмятку мозги имел,
медицинским плакатом матки
обустрявая интерьер?
Словно красная карта родины,
нежной страсти его предмет
не укладывается в пародию
на начальственный кабинет.
Спец по видео и халявщик,
по-младенчески безволос...
– Его, видите ль, «вдохновляет»!
Понеслось!

«Отвратительно! Круто! Знаково!»
Содрогнулась, возмущена,
выворачиваясь наизнанку,
оскорбляемая стена.
Душа, розовая, как мыло,
бормотала из камасутр:
«Не играйте с внутренним миром!
Не заглядывайте вовнутрь!»
Его череп заколотило.
Серьга брызнула, как слюна.
Мы видали – его проглотила
стена.
Исчезали в каменных схватках
череп гладкий, потом нога.
Ещё долго стенная кладка
успокоиться не могла.
Где теперь ты, юноша чокнутый?
Кто сегодня – дожди комет?

Интерьеры terra инкогнита
называются Internet.

www.пургаз. ru
www.оргазм. ru
www.бизнес. ru
Мышке хочется в нору.

Чат 4 (без ru)

Я без Тебя, как без ru.
На Венере безрукавка,
без ru – Кафка!..
Нигде так не во...ют, как у нас
...блёвское шоссе
мне и...бля не накопили строчки
...салка на ветвях сидит
Я ж оперу говорила
«своя...башка ближе к телу» (Мария-Антуанетта)
Я – па...с. Одинокий.
Почем «Мерседес-Бенц»? А просто – ...бенс?
...ина – девушка моей мечты
Все восхищены...бином Ньютона
ТВ и т...п.

ГЕНПРОКУРОРУ (копия в РАО)

«Ещё в 1994 году мною было изобретено и опубликовано имя
„ру“

(ru). Прошу компенсировать моральные убытки
из-за всемирного плагиата в размере – 1...б. за 1 ru».
www.voznesensky.ru

Вы...чат.
Не пей один.
Духовной жаждою томим,
вдруг захлебнёшься, как Довлатов?
Читайте, завидуйте:
я – гражданин
Соединенных Чатов!

Чат 5

Как Ты меня любишь,
как Ты меня любишь, как любишь!..
В сердце впрыснувши наркоту,
сбросив тыщи осенних юбищ,
посвящаешь меня в наготу.
Ты – свобода моей неволи.
Это Ты в брусничном бору,
натерев позвонки канифолью,
посвящала меня в игру.
Дрожь над полем, над лопухами,

недоступное маляру
исчезающее Твоё дыханье,
нерукотворная моя ги...

Чит 6

Ночь. Челябинск. Ремни в ручишах.
За товарища пасть порву!
Дед. Ремесленное училище.
Пряжка с литерами «РУ».

Свищут пряжки. Бей, ремеслуха!
Ряшкой в грязь. Чтоб не был лицом.
Свищут в праздник Святого Духа
пряжки, наваренные свинцом!

Драка! Драка! Из чувства мести —
(дранка, дранка летит в подъезде!) —
месть за нищую жизнь, за мрак.
Мы – кулак, когда все мы вместе:
каждый – друг, товарищ и враг.

Мордой в глину – не в торт «Пражский».
Кто-то в небе уже плывёт,
раскрутясь роковою пряжкой,
одиноким, как вертолёт.

Пряжки в воздухе режут полосы,
не какие-то там «дабл'ю».
Это я из-под ног, без голоса,
это я на земле хриплю...

Кровоточит речь темпераментно,
в ней прилично лишь слово «на»...
В небе свищет прожекторами
салютирующая страна.

– Ты куда несёшься, ги?
Тпру!..

Чит 7. Сказка о золотанной ру

Старуха брала свою пряжку.
Старик ловил неводом нет.
Инопланетян – нет.
Стран, куда летят, – нет.

У Твардовского был свой счёт:
руганёт, а потом – печатнёт.

Люблю «Нескафе» под икру.
Ни дабл'ю, ни дубль вз, ни ру.

Снедь,
чтобы красНЕТЬ.

Шевролетной улыбки – нет.
Прошло лето, а рыбки нет.

Китекэта котёнку нет.
УгНЕТённых бананов нет.

Индюк стонет по двору:
перед казнью: «www.ru».

НЕТипично Скуратов одет.
КиНЕТических скелетов – нет.
Нас Кио киНЕТ,
Maskino киНЕТ,
мякина киНЕТ,
Госкино киНЕТ,
НЕТленки НЕТ.
Что в продаже есть, того НЕТ.
Ему даже поесть – НЕТ.
Монтеня НЕТ.
Нототении НЕТ.
«ИНТЕРНЕТУ – НЕТ!» —
наш сосед произвёл запрет.

Осень – моНЕТный двор.
НЕТопырь не платит за свет.
Новый кабиНЕТный вор
над страной нагНЕТает: «Нет».
Уронив на струну вихор,
плаНЕТарно плачет Башмет.

ТЕНИ НЕТ

Независимость – с Богом сверка.
Бонапарт оставлял треух.
Если б, горькие трюфели века,
мы б оставили лишь «Триумф» —
всё равно это было б нечто!
Непривычно. А вдруг навечно? —
где художники бескорыстны,
игнорируя грязный вой,
где не чавкают над корытом
и звезда говорит с звездой,
где Башмет зажигает Меньшикова,
ну а гений любит поесть,
где Христос отвергает месть,

где хамдамовской кисти женщина
интерНЕТ превратит в интерЕСТЬ.

В форме альта, боль растравляя,
лист опустится на поля...
Спит пропахшая трюфелями
всепрощающая земля.
Недорубленную мою ru
не зовите к топору!
Ученик Башмета, хакер,
бросив детства мир засахаренный,
взламывает банка код —
из азарта, как кроссворд.
Талант тянется к добру...
www.тюряга. ru
www.астма. ru
Подпишу письмо царю:
www.коммерсантъ. ru
«Талант теряем», – говорю.
Отвори тюрягу, ru!
– По ком —
а. колокол. com?
– А что снится комару?
– Кома ru.

Чит 8

Блеснуло лезвие «Gillette».
Начальник, убери свой ствол!
Выкидывает «авторитет»
кишки на стол, кишки на стол.

Как красных жемчугов ведро,
как из метро народ пошёл,
дымится смутное нутро —
кишки на стол, кишки на стол.

Любуйтесь русским харакири!
Начальнику сулит позор
кишочковая терапия —
кишки на стол.

Ни русский не поймут, ни идиш.
Выход простой —
летит пульсирующий выкидыш
на грязный стол!

Душа откроется, сочась.
Овчарка дёрнулась к нутру.
Тебе наложит шов санчасть —
www.ru www.ru

Ты вспомнишь, Холин,
этот бред,
когда в первопрестольный ор
ты выкинешь, уже поэт,

кишки на стол —
письменный стол.
Омоновки кричат,
под маской скрыв чадру:
– Ты чей, чат?
– Ru.

Чат 9

У послушниц Ордена хакеров
полуночные очи болят.
Поддёвочка цвета хаки.
Зомбированный взгляд.

Интердетка, сети детёныш...
как за вредность – литр молока,
ты спасаешь души свой тонус
ненормативностью языка.

Крутизна есть в твоём характере,
математика и азарт.
Ты можешь выплеснуть в харю,
что нельзя тишиной сказать.

Половой терроризм? Оскоми́на...
Бьётся, словно в сачке, чужа,
как красивое насекомое,
непонятная мне душа.

И шевелится в голове,
как у каждого, мини-зло:
два убийства неосуществле
и вчерашняя кража со взло...

На Земфиру фыркнешь с презрением?
Сиганёшь с этажа? Схохмишь?
Полуграмотное прозрение
в твоих пальцах дрожит, как мышь.

И внезапно так станет тошно,
что, введя «Макинтош» в игру,
«Надоело! – ты крикнешь. – Точка!
Ru!»
Сеть ринется в тартарару.
Прочитаем первоисточник.

www.ru.
Боже! Мы забыли Точку!

Не зарифмовали точно
мини-чёрную дыру
(гол, что снится вратарю).
Гол!.. Но что это? Отсрочка?
Шуточка Твоя? Примочка?
Или мышка, взяв игру,
завалила на бок точку,
превратив в тире, в муру?
За заборами цветочки.

www.ru
До сих пор от смеха корчатся:
Иван Грозный на пиру
и Калигула, ну в точности
походящий на Шуру.

Мы ещё прорвёмся, ru!

Чат 10

www, связанные в вязанку,
этот чёрный опасный свет
терний, вывороченных наизнанку,
называется Internet.

Словно ёлочные украшения,
эти новенькие дабл'ю
ещё не ржавые от ношения
на живом человеческом лбу!

– По ком —
а. колокол. com?
И, урча колесом потерянным,
по часам (по-немецки – uhr)
контейнер, гружённый терниями,
направляется к пункту «ru».

– *А что снится комару?*
– *Кома ru.*

Off

Ты прости меня, милый попутчик
сегодняшних гала-Голгоф.
Ты всё что желаешь получишь.
Я – off.

Я – Офелия грязной прозы,

офтальмо-хрустальный взор.
Я – off всяческих официозов,
Off – шор.

Я жизнь твою исковеркала
дотла.
Я в Болдино и в Переделкино
была.

Меняются дженерейшны,
страна.
У Блока и Блейка женщина
одна.

Опять с поколениями Мозес
в пути.
Я гибну. Меня, если можешь,
прости.

Хлестал звездопад в дырявый
дуршлаг.
Наивный, ты веришь в халяву,
дурак.

Я, женщина, неизменна
в изменяющихся веках.
Государственные измены —
мой кайф.

Завистливые облаи
облав —
всё это явления off-лайна,
off-лайф.
Я от прокурорской морали
дошла.
Вбегаю в тебя, Мировая
душа.

Попорчу я новым боярам
игру.
Я с Пушкиным ринулась к «Яру»!..
Я – ги.

Эпилог

Я люблю Тебя, я люблю Тебя,
так люблю!..
Все талантливые ублюдки
смяты гением Твоим, ги!
Твои псы мне порвали икры.
И теперь, когда загорю,

на ногах проступают титры —
Твое имя – www.ru.

Тобой пайщики пировали,
вроде оруэловского хрю-хрю.
Ты, чурающаяся пиара,
нераскрученная гу,

ты спасла меня, целовала...
И за это, когда умру,
свою буковку инициала
закодирую в www.ru

Пусть к URЛычат они, улетаю,
на бескрайнем трубят миру —
Три журавлика вечной стаи —
W
W
W
gu

Ноябрь 2000

ПЕРЕХОД НА ПУШКИНСКОЙ

В переходе на Пушкинской
была пирсинга лавочка.
Твои щёки припухшие
украшали мы давеча
модным вздором серебряным...
Лохов девушки клеили.
И дрожали целебные
два колечка над лейблами.
Всё казалось игрушечным.
Милицейский – без пушечки.
Вдруг со взором опущенным
ты выходишь на Пушкинской?...
Времена переходные...
Вместо лавочки с обувью
корчатся пешеходы
с вывороченными утробами.
У девчонки подобранной
шоком сдвинута психика,
и на ухе оторванном
три заветные пирсинга.
Будьте прокляты, рожи
фотороботов-призраков!
Спаси, Господи Боже,
мою девочку с пирсингом!

2000

ЭСАМБАЕВЫ

Ушёл Великий чеченец.
Остался продлить дела
земной его порученец —
племянник – врач Абдулла.

Он пользуется в Подмосковье
со всей России народ.
Он пользуется любовью.
Он денег с них не берёт.

Врач экстрасенсорен, молод.
Свинину не чтут уста,
но бабки в церковке молят
за Абдуллу Христа.

Когда Махмуд Эсамбаев
плясал, эротичней пантер,
клипсы, как замки с амбаров,
в восторге терял партер.

Как шторм бескорыстных баллов,
пронёсся король папах...
Людскую юдоль убавив,
теперь другой Эсамбаев
мальцу выправляет пах.

Каракульча Махмуда?
Капризный изгиб плеча?
Нас всех исцеляет чудо
танцора или врача.

Откуда же в сердце трепет,
как будто Божья рука
каракулевый пепел
не стряхивает с мундштука?...

В чём предназначенье нации?
Чтобы сжечь у соседа дом?
Сажать заложников на цепь?
Иль чтобы помочь в ненастье
и душу лечить добром?...

Мы все – пациенты бездны.
Ужель средь враждебной мглы
человеческий след исчезнет
Махмуда и Абдуллы?

2000

САМОКАТЫ

В охру женщину макайте,
красьте ею луг Винсента!
Вон она – на самокате
мчит, похожа на проценты.

Маленькие камикадзе
между трейлеров с прицепом
проскользнут на самокате —
на колёсиках процентов.

Вслед, отталкиваясь пяткой,
спятивший Мафусаил,
как лакеи на запятках,
на работу укатил.

Мчатся (вряд ли на работу)
члены русского Пен-центра
на свободу! на свободу!
на колёсиках процентов.

Пузо, груженное бюстом,
самокатик, уноси,
как несут кочан капусты
электронные весы.

И не рассчитав удара,
толстомордик из качков
проскользит по тротуару
на колёсиках очков.

От Малаховки до Мальты
роликам грозит закат.
Поколение асфальта
выбирает самокат.

Мир пузырится, как тоник.
Ты паришь, как на катке,
одноногий аистёнок,
стоя на прямой ноге.

Значит, не было ошибкой
наше детство нестерильное —
из доски и двух подшипников
мы идею мастерили.

Это кайф беспрецедентный,
знают взрослые и дети —
на колёсиках процентов
пролететь через столетья.

– Куда мчишься, самокат?

– В Самарканд!

2000

* * *

На закате плещет мою нишу
нищими рубинами волна.
Я тебя сравнением не унижу,
нищая любимая страна.

У меня просроченная виза.
Тебе будет проще без меня.
Жаль, что я, Россия, не увижу
твои золотые времена.

2000

МАГАЗИН «МОСКВА»

Вентилятор – нелетающий пропеллер.
И тревожно, честно говоря,
что стихи мои опять бестселлер —
«Лучшая продажа февраля».

Лучшая февральская обманка,
том-фантом за 42 рубля...
Снег обескураженно обмякнет —
лето в середине февраля!

Я читаю, одинок, как мамонт,
след от шин, как зубчики Кремля...
Вновь надежда нас продаст, обманет —
лучшая продажа февраля.

2000

ТРАУР

«Смирно!» Души на смотрю.
Над страной – чёрный прапор.
Боже правый, моя гу!..
Траур.

Станный трафик накатил.
Вдовам не помогут травы.
Всюду чёрный негатив —
траур.

Фестивальные кентавры,
жрите чёрную икру!
По матросу Игорьку —
траур.

Кто ответственные лица?
Люди чести, флотских аур?
Ни один не застрелился.
Траур.

С утра слышу до утра:
«Утраутрау...» Рядом травят.
по живым ещё вчера —
по себе мы носим траур.

НТВ и Си-би-эс
задрожат, как сети траулера.
Траур носим по себе.
По надежде носим траур.

Вечный траур по Геннадию:
жизнью, из последних сил,
может, нас с тобою ради,
он реактор заглушил.

Моряками среди мора
остаются моряки.
И на Баренцево море
лягут тяжкие венки.

Женщина в косынке бьётся,
видя, как плывёт венок.
Был старлеем или боцманом?
«Кто, сынок, тебя вернёт?»

На мгновенье над страную
оглянется, не грешна,
называема душою,
траурная тишина.

2000

МОЛИТВА О «КУРСКЕ»

Мертвецы стучат – живые! —
по железному нутру.
Офицеры, рядовые
бьются, как стенокардия,

помнят мать, жену, сестру...
Времена глухонемые.
Господи, уйми стихию!
Дай надежду, хоть искру...

– Куда держишь курс, Россия?
– www.KURSK.ru

2000

ОТКРЫТИЕ ЧЁРНОГО КВАДРАТА

Я открыл чёрный квадрат.
Квадрат сейфа чернеет на стене.
Я назвал код.
Квадрат открылся.
Я спустился в чёртов квадрат.

Ты осталась снаружи, держа верёвку,
чтобы страховать меня.

Что за?
Что за шторкой фотоаппарата?
Кто снимает наш компромат через зеркало?
Что за?

Что за плитой постамента? Памятник Че?
Памятник Чехову? «Чаровница» Кватроченто?
Что за?
Запонки из агата?
Кровать чёрного дерева для членов Политбюро?

Держи, милая, не отпускай!
Что стоит за понятием «К. Малевич»?
ЧК?

Чек?
Чекрыгин?
ТЧК?
Чадра? «Cherry Garden»?
Тиски Чекатило?
Что с хаосом?
Штокгаузен?

Два тысячелетия имели двумерное сознание,
третье тысячелетие имеет трёхмерное – что за?

Держись, милая, за верёвку, только не отпускай!

что за что за что за
что за что за что за что?

Крышка захлопнулась.

За что?!

Век захлопнулся.
Меня затягивает бесформенная чёрная масса.
Батарейки моего телефона на четверть часа.
Я барабаню изнутри в крышку,
как в люк подлодки.

Как ты там?!
Забудь код!..

Что за?

2000

МОЁ ВРЕМЯ

Пришло моё время. Пускай запоздав.
Вся жизнь – только тренинг
перед высшим мгновеньем.
Отходит состав.

Пришло моё время.

Оно, моё время, взяв секундомер,
стоит на пороге.
А кто испугался, душой оскудел —
пусть делает ноги!

Сердца миллионов колотятся в такт
моим бумаженциям.
Со мной – не абстракт! —
на Владимирский тракт
пришла моя женщина.

Мы – нищие брюхом. Как все погоря,
живу не в эдеме.
Но Хлебников нынче – ясней букваря.
Пришло моё время.

Да здравствует время, с которым борясь,
мы стали, как кремний!
Кругом вероломное время сейчас.
Но каждый в себе своё время припас.
Внутри – моё время.

Меня, как исчезнувшую стрекозу,
изучат по Брему.
Ну что на прощанье тебе я скажу?
Пришло моё время.

2000

* * *

Нас дурацкое счастье минует.
Нас минуют печаль и беда.
Неужели настанет минута,
когда я не увижу Тебя?

И неважно, что, брошенный в жижу
мирового слепого дождя,
больше я никого не увижу.
Страшно, что не увижу Тебя.

2000

ПИРСИНГ

В тебе живёт сияние. Безжалостно
из тьмы пупок проколотый мигнёт.
Меж топиком и джинсами, как жалюзи,
просвечивает солнечный живот.

2000

АСЬКИ

По-английски и по фене
я секу.
Дай мне, Боже, вдохновенья —
ай-си-кью.
В жизни тесно мне, наверно,
босяку.
Выдам рифму поновее
вашингтонскому Ваську.
Кто вошёл к нам без секьюрити?
Айзек? You?
С кем тусуетесь, что курите?
Коноплю?
Гуру из Австралии
войдут в игру.
Шлёпанцы скакали,
как кенгуру.
Банк с кия снимай, художник,
просекай...
Дождик делает в окошке —
си-кью-ай
ай-яй-яй...
В императиве Канта
я парю.
С императрицей Катей
водку пью...
Меньшикову снится
барбекю.

Я изменщик, вор, царица,
I... seek... you...

«Дай мне розу-оплеуху», —
говарю.
Полная свобода духа —
ICQ.

2001

* * *

На стрёме
замрут века, дыханье затая.
Нас трое —
Бог, ты и я.

Закрою
твои глаза — ты видишь сквозь пупок.
Нас трое —
Ты, я и Бог.

Настройте
тычинки, сумасшедшие цветы.
Мы трое,
Бог, я и ты, —
мир Трое! —
решили спор войны и красоты.

Гастроли
кончаются. Грядущее темно.
Мы — трое.
Но мы — одно.

3 января 2001

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ СНЕГ

Белое, белое, белое
с семечками людей.
Белые бультерьеры
синеют, как парабеллумы,
на абсолютно белом.
Больно глядеть!

Кусай белизну пломбирную!
Взвей лапами пух-перо!
На клавишах лабух лоббирует —
Лобби — лоббилоббило — бело...

Шарпею не больше года.

Первый культурный шок.
Невинно идёт над городом
невидимый порошок.

Оставь человеку неба!
В груди у меня пожар.
Но завтра не будет снега —
шарпей сожрал.

И чтобы вы не пугались,
пред вами, хоть путь непрост,
как поднятый большой палец,
маячит шарпея хвост.

2001

XXL

Русский новейшина

Что там «новорусские»?!
В мир, испуг навевявши,
входят неворующие
русские новейшие!
Очень часто гений
на условность харкает,
что аборигены
называют «хакером».
Роковые Чацкие,
не поймут старейшины
рокового, чатского
юного новейшину!
Судьи Калифорнии,
чем срока навешивать,
постигайте формулу
рифмы «innovation»...
Лишь бы вы, старейшины,
талант не угробили...
Русскому новейшине
присудите Нобеля!
XXL.

Нынче время – крупных лаж,
краж, потерь.
Время – extra-extra-large —
XXL.
Прошлый век нам выдал марку —
«СССР».
Новый лидер носит майку
«Экс-экс-эль».
Выше всех на Новом годе
наша ель.

Мы живём по страшной моде —
XXL.
В небе лопаются молнии.
Тур Эйфель
примеряет джинсы модные
XXL.
Пётр Великий, выдув губки
с водкой эль,
акселерат, глушил из кубка
XXL.

XXL – НАШ ПУТЬ
К ПОБЕДАМ.
ГРОЗИТЬ
МЫ БУДЕМ ШВЕДАМ.

Мы – нейтрально элегантны
к грязи всей.
Мы – нитратные гиганты
XXL.
У мужчин, как и у женщин,
та же цель.
Несогласные на меньшее —
XXL.
Червячок в нас заголился.
Злит прогресс.
Дразнит антиглобализмом
буквы «S».
Ни экс-Маркс и ни экс-Ельцин —
наш Устав.
Мы желаем, XXL-цы,
чтоб стал мир – большое сердце,
extra-love.

ЗОЛОТАЯ СИНЕВА

Сколько пляжных песчинок!
Сколько в женщине пор!
Внешность с первопричиной
За Тебя ведут спор.

В каждой поре – песчинка.
Сколько времени? Но
все часы – на починке!
Время засорено.

Сколько мы засорили
в этой жизни с Тобой!
Скольких мы озарили
золотой синевой!

Эти брызги сухие —
точно искры души.
Что кому вы сулили?
И кого подожгли?

Но едва опочили —
просыпаетесь вы
в ореоле песчинок
золотой синевы.

Как в восторженном страхе
вихревого столба,
Ты крутилась, вытряхивая
целый пляж из себя!

Никакие бесчинства
тех, кто в Юрмале был,
не заменят песчинок
ювелирную пыль!

Даже в Юрский период
на руке бытия
две песчинки прилипли —
и Твоя, и моя.

Помнишь,
в Крито-Микенах
проглотила тоска,
закружив манекены
из живого песка?

Что ещё рассказали,
сквозь загар не сильны,
синячки под глазами
золотой синевы?

Всё окажется лажей.
Вновь очутитесь вы
в белом золоте пляжа
и чуть-чуть синевы.

В том тумане не ясно,
где и кто ты такой...
Я с Тобой обменяюсь
золотою ногой.

ТРИ АДА

Душу парализовали
три кита цивилизации:

тоталитаризм,
тотализатор
и тотальное лизание.

ВЕТЕР

Ветер
гуляет по выставке Фешина.

С петель
срывающиеся повешенные...

Сеттер
прилип к потолку,
словно тряпка уборщицы.

Ветер свободы,
ветер убожества!

В Питер
умчалась Ты – я не заметил —

Ветер...

ЮБИЛЕЙНОЕ

Я в Ригу еду в белых джинсах.
Восьмисотлетье в голове.
В национальном я меньшинстве.
Но в сексуальном большинстве.

ЧАСЫ СЫЧА

Для меня год начался символично. Я летел в Дельфы на Международный день поэзии. В аэропорту понял, что забыл дома часы. Подошёл к девушке, продавщице часов: «Дайте мне, пожалуйста, самые дешёвые часы, чтобы их потом можно было выбросить». Стоящий рядом незнакомец сказал: «Андрей Вознесенский? У меня есть для вас часы. Я хочу, чтобы моё время было на вашей руке». И подарил мне футляр с часами Картье. Это очень дорогие часы с двумя циферблатами. Они показывают европейское и азиатское время.

Мы познакомились. Звать его Владимир Михайлович Боград. Ему 41 год. Бизнесмен, председатель правления одного из альянсов. Новый русский? Может быть. Но не из тех, о которых рассказывают анекдоты. Я назвал бы его новейшим русским. Говори после этого, что Россия не интересуется поэзией.

Что говорить о шоке, который потряс мир 11 сентября! Я очень люблю Нью-Йорк. Взорванный самолёт вопит о новом сознании. Тысячелетие, увы, началось с этого.

Частная жизнь становится публичностью. То, что было трагедией для художников прошлых столетий – жизнь на экране, муки ада, и т. д., – сейчас становится естественной нормой? Не отсюда ли интерес к передаче «За стеклом»?

В начале сентября на Новодевичьем наконец был сооружён памятник на могиле моих

родителей. Памятник создан по моему архитектурному проекту. Идея проста – трёхтонный шар серого гранита находится на наклонной плоскости. Его удерживает от падения небольшой крест. Из меди с глазурью. Освящение памятника провёл отец Валентин.

Проект мой был с удивительной бережностью и тщательностью выполнен в мастерской Зураба Церетели. Спасибо Зурабу, поклон резчикам Давиду, Важе и разнорабочим, которые на руках, без крана, установили шар.

Вчера этот беспощадный шар поглотил новую жертву – сибирского страдальца за всех нас, за Россию – Виктора Петровича Астафьева.

Б. Г.

Ночь. Рок-н-ролл. Жарко.
У музыки одна корысть:
толпа вздымает зажигалки,
давая небу прикурить!

* * *

Прикрыла душу нагота
недолговечной стеклотарой.
Как хорошо, что никогда
я не увижу Тебя старой.
Усталой – да, орущей – да,
и непричёсанной, пожалуй...
Но, слава Богу, никогда
я не увижу Тебя старой!
Не подойдёшь среди автографов
меж взбудораженной толпы —
ручонкой сухонькой потрогав,
не назовёшь меня на ты.
От этой нежности страшенной,
разбухшей, как пиковый туз,
своё узнавши отраженье,
я в ужасе не отшатнусь.
Дай, Господи, мне проворонить,
вовек трусливо не узнать
Твой Божий свет потусторонний
в единственно родных глазах.

* * *

Из нас любой – полубезумен.
Век гуманизма отшумел.
Мы думали, что время – Шуман.
Оно – кровавый шоумен.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Восхищается толпа

у Иванова столпа:
«Нас красивый силуэт
изнасилует!»

ДВОЙНОЙ ЦИФЕРБЛАТ

В. М. Бограду

Мне незнакомец на границе
вручил, похожий на врача,
два циферблата, как глазницы, —
часы сыча, часы сыча.

Двухчашечные, как весы,
двойное время сообща,
идут на мне часы, часы
ЧАСЫЧАСЫЧАСЫЧА.

Четыре в Бруклине сейчас,
двенадцать – время Киржача.
Живём, от счастья осерчав
или – от горя хохоча?

Где время верное, Куратор? —
спрошу, в затылке почесав —
На государственных курантах
иль в человеческих часах?

С ожогом не бегу в санчасть —
мне бабка говорит: «Поссы...»
Народ бывает прав подчас,
а после – Господи, спаси!

В Нью-Йорке ночь, в России день.
Геополитика смешна.
Джинсу надетую – раздень.
Не совпадают времена.

Я пойман временем двойным —
не от сыча, не от Картье —
моим – несчастным, и Твоим
от счастья накоротке.

Что, милая, налить тебе?
Шампанского или сырца?
На ОРТ и НТВ
часы сыча, часы сыча.

Над Балчугом и Цинциннати
в рубахах чёрной чесучи
горят двойные циферблаты

СЫЧАСЫЧАСЫЧАСЫ.

Двойные времена болят.
Но в подсознании моём
есть некий Третий Циферблат
и время верное – на нём.

СТАТУЯ

Безветренна наша площадь.
Зачем же перед Кремлём
подставили маршалу лошадь,
виляющую хвостом?

Но ветер, крутя, как штопор,
в невидимый ток облёк
ту Тоцкую, адскую топку...
(Учения. Код «Снежок».)

Овца тепловыми столбиками
кружилась. Спаси нас, Бог!
Водитель запомнил только:
«Как по спине утюжок...»

Всё глуше народный ропот.
А маршалу за спиной
Всё чудится медный штопор
завинченной виной.

11 СЕНТЯБРЯ

Одиннадцатого сен-тября,
сен-Тибра и сен-тепла?
Сен-табора, сен-базара,
соседского сенбернара,
влюблённого в сен-Тебя?
И птичьи сен-караваны,
несущиеся, трубя...
Сен-Библии, сен-Корана,
сен-Торы и сен-террора?
След стибренного урана?
И в небе зрачком обзора
застывшие ястреба.
Одиннадцатого сентября
пила ты из кружки этой,
два башенных силуэта
в «11» собирая.
Трейд-центр
ещё не был сен-центром.
Мы жили по старым сентенциям

любви и морали для
(и мира не передела).
От ужаса можно сдвинуться!
И я сентября одиннадцатого:
одиннадцатого сентября
проснулся в чужой гостинице
от крика нетопыря.
И прошлого века фразы
уносятся к Богу в рай:
«We must love each other
or die».
Меж ужаса центробежного
ответил новый Сент-Бёв:
«Поскольку смерть неизбежна,
любите любовь».
И третий, ушедший в светопись,
сказал, сухой, как самум:
«Мораль – не любовь,
не ненависть – а ум...»
Пошло мозгов расчленение.
И кружка разбилась, бля...
ШЛО НОВОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ
С 11 СЕНТЯБРЯ

ШАР АДА

Декабрь – дебаркадер.

Толпятся, ожидая отправки пассажиры – персонажи ушедшего переломного года – деревья, фигуры, собаки – события и герои моей последней книги, ангелы, алкаши, бабуся-врунишка из передачи «Дачники», объявившая, что и я бывал в гостях у журналиста Луи. Исправляя неряшливость телеавторов, повторю, что я не только никогда не был у него на даче, но и даже не был с ним знаком... А рядом сутулится другой Луи – великий Луи Арагон, крупнейшая фигура прошлого века... Наш бардак кодируется в строфы. Кабарда инстинкта переходят в кардан разума.

С Пьером Карденом я виделся 1 декабря этого года. Я приехал к нему с киногруппой поговорить о 20-летнем юбилее «Юноны и Авось». Он встретил нас стройный, страстный. Сказал: ««Юнона» – самый сильный спектакль, который я видел в жизни». Неслучайно в его парижском театре, где когда-то были наши гастролы, на фризе из афиш лучших спектаклей помещены две афиши «Юноны». Два креста, два Андреевских флага.

В Каннах сквозило. Но хозяин не признавал пальто. Его уникальная вилла, построенная без единого прямого угла, подобно осьминогу, ворочалась в сумерках.

Барокамера памяти?

21 декабря состоится мой вечер в Театре на Таганке – поэзия в сопровождении лазера. 28 декабря я выступаю в Киевской консерватории... Что ж, погрузимся и мы в этот декабрьский дебаркадер со своим скорбным скарбом.

Куда нам плыть? В светлое будущее?

Брр... Dark.

КРОВЬ

На кухне пол закапан красным.
Я тряпку мокрую беру,
как будто кнопки из пластмассы
я отдираю на полу.

Об шляпки обломаешь ногти.
Ты поправляешься уже.
Но эти крохотные кнопки
навек приколоты к душе.

ЛИФТ ЗАСТРЯЛ

В лифте, застрявшем от перегрузки,
на потолке в виде капель – наш выдох.
Ты по-английски сказала: «Вы – русские.
Где выход?»

Русская тема, пардон, моветонная!
Век свихнут.
Кровь кровью мы ищем, духовные доноры,
Свой выход.

Чавкает сердце. Темень и сетка.
Спичкою вспыхнут.
Кто-то под юбкою у соседки,
ишь, ищет выход.

Шлемы трещали электросваркой,
но этот выход
не находил гениальнейший Вагнер
Рихард!

Рафаэль Санти, лгать перестаньте!
Секс колбасится.
Пошлость витрин провоцирует анти-
глобалиста.

Вы хоть Россию избавьте от правил
взаимовыгод...
«Выхода нет, – проповедовал Павел. —
Значит, есть выход».

И двоерукий Христос над оравой
путь указал человеку и выхухолю:
то ли налево, то ли направо?
Где выход?

Нету идеи. Как неприкаянно
где-то, без тела,
воет без нас, потерявши хозяина,
бродит идея.

Я вырываюсь из лифтовой клетки,
выломав дверцы.
Нет входа в рай. Снова шахта и сетка.
Входа нет в сердце.

Пётр искривится улыбкою месяца.
Черна свобода.
Чавкает сердце. Выход имеется.
Только нет входа.

2001

ДОЧЬ ХУДОЖНИКА

Все таланты его от дочери.
Он от дочки произошёл.
Гениальные многоточия
он малюет на мокрый шёлк.

Почему он, гулявший дочерна,
видит в бритвенном зеркальце
как великие очи дочери
расцветают в его лице?

Был он скряга, потухший кратер,
нынче пробует всем помочь.
изменила его характер
прародительница дочь.

А сама пиво пьёт наивно,
в комбинезончике, как оса,
переведши талант на имя
новорожденного отца.

А ему всех наград не надо
лишь бы мог день и ночь толочь:
«доча – доча – дочадочадо – ч а д о —
дочь».

Не таил он в душе заточку,
зато в будущем витал —
муку взяв на себя за дочку,
чёрный кайф предугадал.

Так закидывают альпинисты,
крюк с верёвкой на неба край,
чтоб вытягивала неистово

та верёвочка к Богу, в рай!

2001

TRADE CENTER

Америка по всем программам.
«На что способен Человек?»
В глазах – обломки чёрной рамы.
НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО.
Всё это было не макетом,
не Голливуд на нас попёр.
Ревёт дымящийся Манхэттен,
как потерявший зуб бобёр.

Чей
самОлёт
вбит
в стену
кляксой?

Он тыщи жизней уволок.
Цивилизация в коллапсе.
Избави Бог! Избави Бог!
И трафик душ, спеша расстаться,
крутился зло и горячо.
Кому несут москвички астры?
Кому ещё?... Кому ещё?...
И сероглазую студентку,
глазевшую на Пентагон,
оберегите, не заденьте!
Скорее, милая, бегом.
Есть вечность зла.
Есть свет и вечность.
Дышала, схожая с Тобой,
мучительная человечность —
какой ценой? какой ценой?
Цивилизация в коллапсе.
По тёмным лестницам кружа,
больную вынесли в коляске
с 68-го этажа.
Как здорово, что столько доноров.
У крови лидеры свои.
Смысл жизни не в рублях и долларах,
а на крови, а на крови.
Нам остаётся только тайна.
Осталась пыль. Остался гул
от сухопутного «Титаника»,
который в небе затонул.

Большая кровь побила рейтинг
былых эпох. На что нам, Бог,

кровавого тысячелетия
непредсказуемый пролог?
Иное наступает время.
Иные слава и позор
ещё не ощутимы всеми.
Но счёт пошёл, но счёт пошёл.
Всё будет: счастье, мелодрамы,
успех, в любви – волонтаризм.
Но в чёрной раме, в чёрной раме
на всю оставшуюся жизнь.

11 сентября 2001 года

ЧАТ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Голосина, здравствуй, голосина!
Плёнку в Пензе обнаружил перст судьбы.
Надо мной, над беспартийною Россией
воет лысый шар «уйди-уйди!»

Голосина с того света, голосина...
Для того ли он людей освобождал, —
на своих крестьян – чтоб Хиросимой
сбросить атомную бомбу на Урал?!

Вверх ногами лампой керосиновой
набухает бешеный кулак.
«Вознесенский, – воет голосина, —
господин!» (что означало враг).

Пахло водкой, ненавистью, щами.
Я не помню даже, что молол.
Чрезвычайное чревовещанье
превращало встречу в монолог.

Голосина колбасится, голосина.
Был упитан наш царёк, но хреноват.
Он от бешенства стал даже красивым,
родину к поэту взревновав.

Помнишь, ты был следующим, Вася.
В чём была вина наша, Васо?
В рёве автоматчиков «Сдавайся!»
были мы живыми. Вот и всё.

С той поры в покоях императорских
воцарились мат и лимита.
Стали туалетствовать в парадных.
Где Никита? Знаем – «Никита».

Всюду, когда я казался весел,
надо мной, между улыбок и зубил,

он свистал, сметая залы с кресел.
Годы шли. И я его забыл.

Почему же он сегодня именно
покидает в Пензе мавзолей?
Воет век на собственных поминках.
И блефует, что он всех живей.

Хрюк кабаний. Чавканье трясины.
Над интеллигенцией – кулак.
«Ишь, какой ты, – воет голосина, —
Пастернак!» (что означало враг).

Игнорируйте его отчаяние,
нутряной и убиенный рёв,
хакеры, new-мальчики очкастые,
а иные даже без очков!

Но в веках остался жест бессмертный:
с кулаком взметённая рука —
как спускают воду из бачка.
(Продолжительные аплодисменты.)

ЧАТ ЛУННОЙ РЭПСОДИИ

Партия и фортельяно

Луна на шифере. Окошки в испарине.
Век двадцать первый. Столовая-спальня.
Я с плеером жду тебя ночь напролёт.
– Почему вы афишируете, что вы не член партии?!
«Я не член партии!» Вызов даёт!
Сотрём всех, кто стоит на пути
Коммунистической партии!

Сотрём!
Где тебя носит? Все кончились party.
Время близится к трём.
Опять «тойота» в окне незавешенном...
И опять стороной...
– Ваши дела говорят об антисоветчине!
Нет, вы – член партии. Только не той...
Я буду бороться против всякой нечисти.
«Я не член партии» – ишь ты какой!
Хотите указать путь человечеству?
(Аплодисменты. Крики «Долой!»)
Не пора ли, пташка, домой?
А вдруг вокруг тебя любера?
Или под выборы
нам опять вставят клизму чеченцы?
– Либер-

лизму здесь нет места, господин Вознесенский!
Вы хотите нам какую-то партию беспартийных...
Гляжу на твои картины:
у женщины ум в инстинкте —
смесь Левитана и поп-арта.
– Это клевета на партию!
(*Аплодисменты. «Вон из страны!»*)

Ах, как я ждал твоей предрассветной
тишины!..
Я слышу, как на далёкой пристани
стихает полуночный мат...
– Ну как же! Родился Прынц!
Все леса шумят.
Вам вскружил голову талант...
Но как ты одна среди страшных улиц?
Вчера в Очакове трое качков...
Луна, как платье, висит на стуле.
– А вот два агента носы воткнули.
Один очкастый, другой без очков!
Экран: «Отче наш» поёт Михалков
Сергею Владиленовичу. Ночь черна.
Чечня не выходит из головы.
– Вы по своим стреляете! А кто свои?

Не хватайте ночных телефонов!
А вдруг это ты из больницы в Лефортово?
И не можешь вылететь в форточку?...
Нет. Опять эта школа злословия,
у, шкода поганая...
Слова затишены. Трубка повешена.

– Мы создали условия
свободы не для пропаганды
антипартийщины и антисоветчины.
Кого обнимает Твоё распятие?
Камо грядеши? Куда идёшь?
– Партия, партию, партией...
Право на молодёжь... Вы говорите ложь!
– Нет, не ложь!
А брошь?
Которую якобы подарил Диор?
(*Аплодисменты. Крики «Позор!
Дави сучат!»*)
В дверь стучат. Лишь бы не отперли.
Я без документов. Что скажут оперы?
Кто я? Да ещё с ключами... Вот вопрос.
Дождик осенний
– Никакой оттепели.
Или лето, или мороз!
Вы скажете, я зажимаю,
я – Секретарь, Председатель!

Как книксен жеманный,
приседает белый рояль.
И кресло – в присядку.
«Мадрид твою!» – сегодня играют «Спартак» – «Реал».
Я спятил.
– Если вы не перестанете думать, что вы родились гением...
Экран: игра офигенная!
Ведёт «Спартак».
Пас. Тренер. Я те толкану!
– Ишь ты какой Пастернак!
Мы предложили Пас...тернаку,
чтоб он уехал. «Спартак» – призёр.
(Аплодисменты. Крики «Позор!»)
Окно поехало по потолку.
«Вольво».
И опять не сюда.
– Мы никогда не дадим врагам воли,
н и к о г д а!
Для таких будут самые жестокие морозы!
(Открывает холодильник.)
Хорошо бы попитаться...
(Аплодисменты, переходящие в овацию.)
Есть ветчина...
– Антисоветчина! —
но какая-то антипатичная,
цвета Паприщина...
– Антипартийщина!
(Одинокий антиаплодисмент.)
А плодись ты в рот, ед ассортимент!
За год не съесть.
Ещё бы штопор.
– А ты што хлопал?!
А кто ты есть?
Творожник с корицей.
Полбанки «Невского».
– Я художник, Голицын.
Я люблю стихи Вознесенского.
– А ещё что ты любишь?!
– Ещё Маяковского...
Ещё хрен с морковкою.
Ещё опята – трупики лета.
Ещё пудинг.
И паста в баночке.
Коньяк не допит, но запит.
(Опять к поэту.)
– В тюрьму мы вас сажать не будем.
Завтра получите паспорт!
И катитесь к чёртовой бабушке!
К своим...
Вам нравится Запад —
по-жа-луй-ста!

Я засыпаю от тепла и жалости.

Засыпаю под ор трафаретный.
Мне снится бешеная тоска —
обида непризнанного поэта
на принца, пришлого новичка.

Не всё развалил он при спешке вечной.
Дурной премьер. Деловой зампред.
Но никто не утешил его сердечно:
«Никита Сергеевич, вы – поэт!»

И он прослезился бы так нелепо...
Он не был знаток кукуруз и реп.
В нём жил Поэт, реформатор рэпа,
ужастика в сите «рэп».

ООН просвещал он туфлей, поддатый
колхозный сюрреалист.
Не зря оппонент написал когда-то:
«Хрущёв восхищает меня как стилист».

Любой человек не рождён бездарным.
Не всякий нашёл себя как поэт.
И рэп с бэкграундом берестяным
поймут, как и я, через много лет.

Отснились, как сон, «анти – парти – анти»...

– ПЕРЕСТАНЬТЕ! —
(Ты вбегаешь и вырубаешь кассету.
Твои бёдра обтянуты в сетку,
как на бутылке «Кьянти».)

И в морозилке не партизаньте!
Ах, у нас гости?! И у них ключи?
Сам плеер включился? А ты – отключи.
Нужна не милиция, а врачи!
Милый, прости меня! Доброе утро,
Как пить хочется! Есть цикута?
(Снимает прикид с воланами.)
Где я была? Да всё время в ванной.
Лежала в глубоком обмороке.
Понимаешь, вошла, как всегда, смиренная.
А он там сидит.
Я думала – бандит.

А он – оборотень. И гляделки сузил.
(См. предыдущий текст.)
Я всегда говорила, что наш санузел
Совмещён с иным измерением...

Как новый век зануден!
Хочу в другой миллениум.
(Идёт к роялю.)
Где тут педали?
(Крыло подымается.)
Улетаю!
Без меня тут парьтесь!
Не, я не пьяная...
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
ФОРТЕПЬЯНО!

*(Доносится рэпсодия и одновременно
бурные продолжительные аплодисменты.)*

2002

* * *

Архитектуру не приемлю,
когда вокруг лесной тропы
российскую больную землю
сосут кирпичные клопы.

* * *

Все товарищи сегодня – господаины.
Над попсинною страной наискосок
голосина стонет, голосина —
с ним навек мой волосиный голосок.

Кто обидел и кого обидели
над землёй сплетённые летят.
Виноваты только обвинители.
Разве виноватый виноват?

2002

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЗЫКА

Константирует Кедров
поэтический код декретов.
Константирует Кедров
недра пройденных километров.

Так, беся современников,
как кулич на лопате,
константировал Мельников
особняк на Арбате.
Для кого он горбатил,
сумасшедший арбайтер?

Бог поэту сказал: «Мужик,
покажите язык!»

Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык —
в волдырях, обожжённый, нежный —
покажите язык!

Ржёт похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.

Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт – это только страстная
демонстрация языка.

Алой маковкой небесовской
из глубин живота двоякого
оперируемый МаяКОВский
демонстрирует ЯКОВА...

Эфемерность евроремонтов
константирующий Леонтьев
повторяет несметным вдовам:
«Поэт небом аккредитован!»

Поэтического скинхеда
виден череп в компьютерной мыши.
Мысль – это константа Кедрова.
Кедров – это константа мысли.

2002

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ «ЮНОНЫ» И «АВОСЬ»

Прошлый век —
дилетант и миляга.
Нас спасают при катастрофе
два креста,
два Андреевских флага
и две чашки чёрного кофе...

Думал я – распад прекратится
в новом веке. Будет легко.
Что таит в себе единица? —
минарет? или флага древко?
Мир зачёркивают с отвагой
XXI века профи —
два креста, два Андреевских флага.
И ещё один, третий – в профиль.

Он страдал, модернистски дурея,
сикось–накось распятый толпой.
Но кресты Святого Андрея,
точно стропы, несут нас с Тобой.

Жизнь сильнее, чем нож отморозка.
Но по краю всех наших зол,
вертикально осталась полоска,
по которой Он в небо ушёл.

ЮБИЛЕЙ «ЮНОНЫ И АВОСЬ»

Верим мы, что огорчительно,
в евро-доллары-рубли.
Но Резанов и Кончита
говорят, что смысл в любви.
Двадцать лет как нас захавала
зрительская толкотня —
Рыбникова, Захарова,
и актёров, и меня.
Двадцать лет, как раскоряченных
политических слепцов
дразнит с юною горячностью
Николай Караченцов.
Сероглазый зайчик, Шанина
начала парад Кончит.
Музыка непослушания
в зале молодом звучит.
Минет век, но со слезами
будут спрашивать билет,
пока зрительницам в зале
будет по шестнадцать лет.
Пусть Резанов и Кончита
продолжают шквал премьер.
Для Гарзана и для Читы
поучительный пример.

2002

АВТОРЕКВИЕМ

Памяти У. Б. Йейтса

Дай, Господь, ещё мне десять лет!
Воздвигну Храм. И возведу алтарь.
Так некогда просил другой поэт:
«Мне, Господи, ещё лет десять дай!»

Сквозь лай клевет, оправданных вполне,
дай, Господи, ещё лет десять мне.

За эти годы будешь Ты воспет.
Ты органист, а я – Твоя педаль.
Мне, Господи, ещё лет десять дай.
Ну что Тебе каких-то десять лет?

Я понял: жизнь прошла как бы вчерне,
несладко жил – но всё же не в Чечне.
Червонец дай. Не жмись, как вертухай!

Земля – для серафимов туалет.
И женщина – жемчужина в дерьме.
Будь я – Господь, а Ты, Господь, – поэт,
я б дал тебе сколько угодно лет.

2002

* * *

Во мне живёт непостижимый свет.
Кишки проверил – батареек нет.
Зверёк безумья вьелся в мой
скелет.

Поэт внутри безумен, не извне...
Во сне
я вижу храмовый проект
в Захарово. Оторопел
автопортретный парапет...
Спасибо Алексу Сосне за помощь.
Дай осуществить проект,
чтоб искупить вину греховных лет!..

Я выбегаю на проспект.
На свет
летят ночные бабочки: «Привет!»
Мне мент орёт: «Переключайте свет!»
Народ духовный делает минет.
Скинхед
пугает сходством с ламою-далай
Мне, Господи, еще лет десять дай
транслировать Тебя сквозь наш раздрай!

Поэту Кисти ты ответил «нет».
Другой был, как Любимов, юн и сед,
дружил с Блаватской, гений, разгильдяй.
Поэт внутри безумен, не вовне —
в занудно-шизанутой стороне,
где даже хлеб мы называем «бред».
Дух падших листьев – как «Martini Dry».

Уехать бы с тобою на Валдай!

Там, где Башмет играет на сосне.
У красных листьев
запах каберне.

Люблю Арбат, набитый, как трамвай,
проспекта посиневшее яйцо.
Люблю, когда Ты дышишь горячо.
Мне, Господи, ещё лет десять дай!

Какой ты будешь через десять лет,
Россия, с отключённым светом край?
Кто победит – Господь или кастет?
Мне, Господи, ещё лет десять дай!

Вдруг пригодится мой
никчёмный свет,
взвив к небу купол,
где сейчас сарай...
Безумье жить. За десять лет почти
безумье мысли может нас спасти.
Меня от слова не освободи —
хотя бы десять лет дай, Господи.

2003

ПОСТСКРИПТУМ

Двадцатилетнюю несут —
наверно, в рай?
За что заплатим новыми
«Норд-Остами»?
О, Господи, Ты нас не покидай!
Хотя бы Ты не покидай нас, Господи!

2003

ТЕМА

Жизнь вдохните в школьницу лежащую!
Дозы газа, веры и стыда.
И чеченка, губы облизавшая,
не успела. Двух цивилизаций
не соединила провода.

Два навстречу мчащихся состава.
Машинист сигает на ходу!
В толпах душ, рванувшихся к астралу,
в конце света как Тебя найду?

Что творится!..
Может, ложь стокгольмская права,
если убиенному убийца

пишет в рай ведущие слова?!

Нет страдания в оправданье тяги,
отвергающей дар Божий – жизнь.
Даже в Бухенвальде и в ГУЛАГе
не было самоубийств.

Чудо жизни, земляничное, грибное,
выше политических эскапад.
Оркестровой ямой выгребною
музыку в дерьмо не закопать!

Победили? Но гнетёт нас что-то,
что ещё не поняли в себе —
смысл октябрьского переворота,
некое смеркание в судьбе.
(У американцев – в сентябре.)

Если кто-то выжил, и вернулся,
и тусуется по вечерам —
всё равно душа перевернулась.
Всё равно он остаётся там.

Христиане и магометане.
Два народа вдавлены в «Норд-Ост».
Сокрушённо разведёт руками
Магометом признаваемый Христос.

Он враждующих соединил руками.
В новую столетнюю войну,
ненависть собою замыкая.
В землю ток уходит по Немю.

2002

МУЗА

Все мы Неба узники.
Кто-то в нас играет?
Безымянной музыки не бывает.

Тёлки в знак «вивата»
бросят в воздух трусики!
Только не бывает
безымянной музыки.

Просигналит «Муркой»
лимузин с Басманной.
Не бывает музыки безымянной.
Мы из Царства мумий
никого не выманит.
Мы уходим в музыку.

Остаёмся именем.

Чьё оно? Создателя?
Или же заказчика?
Одному – поддатие.
А другому – Кащенко.

И кометы мускульно
по небу несутся —
Магомета музыкой
и Иисуса.
Не бывает Грузии без духана.
Не бывает музыки бездыханной.
Может быть базарной,
жить на бивуаках —
но бездарной музыки не бывает.
Водит снайпер мушкой
в тире вкусов:
Штакеншнайдер? Мусоргский?
Мокроусов?
Живу как не принято.
Пишу независимо,
слышу в Твоём имени пианиссимо.
Жизнь мою запальчиво
Ты поизменяла —
музыкальным пальчиком
безымянным.
Полотенцем вафельным
не сдерите родинки!
Ты, моя соавторша, говоришь мне:
«родненький»...
Ты даёшь мне мужество
в нашем обезьяннике.
Не бывает музыка безымянной.

2003

НАДПИСЬ НА ШЕСТОМ ТОМЕ

Добавок-том назвал я впопыхах:
«Пять с плюсом».
Он необычен и вульгарен, как
блядь с флюсом.
Плюс общий вкус, с которым,
как ни бьюсь,
не сдвинешь.
Плюс драки вкус, который тоже плюс —
не минус.
Плюс ты, к которой тороплюсь.
Плюс времени
моя неподсудимость!

Я жить любил, где глухомань и плющ,
но и на баррикадах не был трусом.
Плюс главное, о коем не треплюсь, —
трансляция иных, незримых уст —
жизнь с плюсом.
Стиль новорусский непонятен мне —
икона с плюшем.
Я крестик Твой в раскрытой пятерне —
пять с плюсом.

2002

ТЕРЯЮ ГОЛОС

I

Голос теряю. Теперь не про нас
Гостелерадио.
Врач мой испуган. Ликует Парнас —
голос теряю.

Люди не слышат заветнейших строк,
просят, садисты!
Голос, как вор на заслуженный срок,
садится.

В праве на голос отказано мне.
Бьют по колёсам,
чтоб хоть один в голосистой стране
был безголосым.

Воет стыдоба. Взрывается кейс.
Я – телеящик
с хором из критиков и критикесс,
слух потерявших.

Веру наивную не верну.
Жизнь раскололась.
Ржёт вся страна, потеряв всю страну.
Я ж – только голос...

Разве вернуть с мировых свозняков
холодом арники
голос, украденный тьмой Лужников
и холлом Карнеги?!

Мной терапевтов замучена рать.
Жру карамели.
Вам повезло. Вам не страшно терять.
Вы не имели.

В бюро находок длится делёж
острых сокровищ.

Где ты потерянное найдёшь?
Там же, где совесть.

Для миллионов я стал тишиной
материальной.
Я свою душу – единственный мой
голос теряю.

2

Все мы простуженные теперь.
Сбивши портьеры,
свищет в мозгах наших ветер потерь!
Время потери.

Хватит, товарищ, нить, идиот!
Вытащи кодак.
Ты потеряешь – кто-то найдёт.
Время находок.

Где кандидат потерял голоса?
В компре кассеты?...
Жизнь моя – белая полоса
ещё не выпущенной газеты.

Го, горе!
Р you,
м м
ос те ю!

3

...Ради Тебя, ради в тёмном ряду
белого платья,
руки безмолвные разведу
жестом распятыя.

И остроумный новоосёл —
кейс из винила —
скажет: «Артист! Сам руками развёл.
Мол, извинился».

Не для его музыкальных частот,
не на весь глобус,
новый мой голос беззвучно поёт —
внутренний голос.

Жест бессловесный, безмолвный мой крик
слышат не уши.
У кого есть они – напрямик

слушают души.

2002

ЛЕТО ОЛИГАРХА

Опаловый «Линкольн».
Полмира огуляв,
скажите: вам легко ль,
опальный олигарх?

Весь в чёрном, как хасид,
легко ль дружить с Христом?
Под Нобеля косить?
Слыть антивеществом?

Напялив на мосла
Ставрогина тавро,
слыть эпицентром зла,
чтобы творить добро?

Бежит по Бейкер-стрит
твой оголец, Москва.
Но время состоит
из антивещества.

Кар взорван. Бог вас спас.
Вас плющит сноуборд.
С экрана ваш палас летит,
как в рожу торт.

Как беркут поугрюмев,
вы жертвуете взнос.
чтобы в российских тюрьмах
исчез туберкулёз.

Жизнь – не олеограф
по шёлку с фильдеперсом.
И женщин, олигарх,
вы отбивали сердцем.

И пьёте вы не квас,
враг формул и лекал,
люблю безумство в вас,
аллегро-олигарх!

Люблю вместо молитв
отдачу сноуборду,
И ваш максимализм —
похмельную свободу!

Господь нахулиганил?

Все имиджи сворованы.
Но кто вы – «чёрный ангел»?
Иль белая ворона?

Над Темзой день потух.
Шевелит мирозданье
печальный Демон,
дух изгнания.

Надежда или смерть?
Преддверие греха?
Рубаю Божью снедь я,
олигарх стиха.

14 апреля 2003

БОТЕРО

В июне этого года я был на фестивале в Медельине, Колумбия.
Колумбия не мелочится в культуре: первый писатель мира сейчас – Габриэль Гарсиа Маркес, крупнейший скульптор мира – Ботеро. Оба колумбийцы. Ботеро родился в Медельине. Гигантские скульптуры его выставлялись на Елисейских Полях и в Нью-Йорке. Мандельштамовские тяжесть и нежность характерны для его стиля. Личность безразмерна. Кватроченто тянется в четвертое тысячелетие. Ботеро сегодня – самый известный художник. На фестивале я встретился со старыми друзьями: шведом Ласси Содербергом, американцем Баракой, сильными колумбийцами Гарольдом Тенорио и Никалосом Суескуном, Атукеем Окаем – крупнейшим поэтом Ганы. Он когда-то учился в Москве. И на память по-русски читал моего «Гойю». Тысячи молодых колумбийцев на газонах и асфальте часами слушали стихи.

Есть русская интеллигенция. В Одессе неделю назад на моём вечере зал встал после того, как я прочитал стихи памяти Юрия Щекочихина. Пришла записка. В ней после комплиментарных слов было написано: «Как вы относитесь к родине сейчас, когда она плюёт на всех на нас?»

Ночью я написал ответ.

АСФАЛЬТОВАЯ ОРХИДЕЯ

Ботеро
напяливает женщин, как сомбреро.
Дух – это ропот тела.

РОБОТ + ТЕРРОР = БОТЕРО

А ты, на глазах худея,
добавила: «С нами Бог,
поскольку здесь орхидея —
национальный цветок».

Национальная идея —
красоты осколочки.

У вас это орхидея,

у нас – колокольчики.
Фестиваль.
Асфальтовые орхидеи
лежат, от стихов балдея.
Льёт дождь. И партер промок.
Как лопасти, плыли зонтики.
Звонки отключает сотовые.
кустодиевский Вудсток.
Ты – стройная, как родео,
в лохмотьях «а-ля орхидея»,
на сцену мне шлешь кивок.

И в ухе у орхидеи,
как мухи, жужжат харлеи.

Асфальтовая орхидея,
ославлена поведением —
раз так! —
тинейджеровской Вандеи
в тебе проступал росток.

В роскошной дырявой ветоши
по странам летаешь ты,
национальная разведчица
в пробирочке Красоты.

Все женщины, что имею,
и те, что не целовал,
есть, в сущности, орхидеи,
упакованные в целлофан.

Прощай, орхидеево дерево!
Цветочный идёт транзит.
Тебе кубатура Ботерова
пока ещё не грозит.

АМУРЧИКИ ОХРЕНЕЛИ —
ПУКАЮТ, КАК ПАРАШЮТ.

ЭКСПОРТИРУЙТЕ ОРХИДЕИ,
А НЕ КОКАИНОВЫЙ ПОРОШОК!

Пока лучшая часть
населения ширяется —
Вселенная расширяется.
Все уродства, как розы Ширази,
диафрагмово расширяются.
Россия сужается,
а дурь расширяется.
Расширяется власть
шариатская.
Гроза. Молнирует

ширинка адская.
На кокаине грех разжиряться —
только зрачки расширяются.
Поэтами не швыряются.
ПОЭЗИЯ РАСШИРЯЕТСЯ.

В саду

В саду ботаническом,
не платоническом,
читаем стихи орхидеям.
Лесные купавны
повторят губами
за нами, что мы не умеем.

Из бывших людей вы
ушли, орхидеи.
Усатые, словно креветки.
Ваш главный поклонник
повис, как половник,
хвостом зацепившись за ветки.

Стихи вам читали
мадам из Италии
и чёрная дева Астарта.
Цветок и мангуста
страдают от чувства,
взращённого на асфальте.
От чёрной разлуки
язык у гадюки
раздвоен, как светские фалды.

Де Сад ботанический
силлабо-тонический
стих понял, хоть был и невежда.
Мартын-половешка,
как девушка с Плешки,
хвост поднял на нас. Что невежливо.

Мы – детки фальстарта,
объедки Фальстафа.
Нам кажется пошлым Вивальди.
Быть может, моднее
и есть орхидеи —
люблю орхидею асфальта.

Разговоры

– Кем ты вырастешь, орхидея?
– Кустодиевской буржуазкой?

- Порн-моделью Фиделя Кастро?
- Комиссаркой с лицом Медеи?
- Или белой гориллой в маске?

Меня спросила кофточка с люрексом:

- Что: видеомы или стадионы —
полезнее для
революции?
Вопрос потонул
в сентенциях:
– Вы слышали про
Вознесенского?
Он задумал как архитектор
храма белую орхидею.
– В Боготу едет батюшка.
С попадъёй.
– Ах, mon dieu!
– Вождь повстанцев – выпускник Лумумбы,
на петлицах проступают ромбы.
– Зомбированные бомбы.
– А ты лук ел?
– Мир облукойлел.
– Про потери в Чечне слышали?
– У Ботеро такая харя!

– Кишки выпускают и пьют с тоски
московские выпускники.
Три орхидеи.
Так душно, что гаснут свечи.

Ботеро сказал: «Идея!»
И этим увековечен.
Он вырвал три орхидеи
из самых красивых женщин.
О'кей?
Вбил в каждую пару гвоздей.
И вот в галерее «New fashion»
работает двигатель вечный —
вентилятор из трёх орхидей.

**ЗАДУМЫВАЮТСЯ КОНТРАМЕРЫ:
ПАРТИЗАНСКАЯ ПУЛЯ ЗАСТРЯНЕТ В
НЕОБЪЯТНОМ ЗАДУ БОТЕРО.
– НАДО БЫ ИЗ БТРа...**

Медельин – Москва, 2003

* * *

Нам,
продавшим
в себе

человека,
не помогут
ни травка,
ни бром.
Мы балдеем
Серебряным
веком,
как Иуда
балдел серебром.

2003

ОБЛАКА

Улети моя боль, утеки!
А пока
надо мною плывут утюги,
плоскодонные, как облака.

Днища струйкой плюют на граждан,
на Москву, на Великий Устюг,
для отпарки их и для глажки
и других сердобольных услуг.

Коченеет цветочной капустой
их великая белая мощь —
снизу срезанная, как бюсты,
в париках мукомольных, вельмож.

Где-то их безголовые торсы?
За какою рекой и горой
ищет в небе над Краматорском
установленный трижды герой?

И границы заката расширять,
польхает, как дьявольский план,
карта огненная России,
перерезанная пополам.

Она в наших грехах неповинна,
отражаясь в реке, как валет,
всюду ищет свою половину.
Но другой половины – нет.

БУЛЬВАР В ЛОЗАННЕ

Шёл в гору от цветочного ларька,
вдруг машинально повернул налево.
Взгляд пригвоздила медная доска —
за каламбур простите – «ЦветаЕва».
Зачем я езжу третий год подряд

в Лозанну? Положить два георгина
к дверям, где пела сотню лет назад —
за каламбур простите – субМарина.
С балкона на лагуну кину взгляд
на улочку с афишею «Vagina».
Есть звукоряд. Он непереводимый.

Нет девочки. Её слова болят.
И слава богу, что прошла ангина.

ОСЕНЬ ПАСТЕРНАКА

Люби меня!..
Одна была – как Сольвейг,
другая – точно конница Деникина.
Заныкана общественная совесть!
Поэт в себе соединял несое-
динимое.

Две женщины – Рассвета и Заката.
Сегодня и когда-то. Но полвека
жил человек на ул. Павленко,
привязанный, как будто под наркозом,
к двум переделкинским берёзам.

Он, мальчика, меня учил нетленке,
когда под возмущения и вздохи
«Люби меня!» – он повелел эпохе.

Он не давал разъехаться домашним.
«Люби меня!» – он говорил прилюдно.
И в интервью «Paris dimanche»-м,
и в откровении прелюдий.

Любили люди вместо кофе – сою.
И муравьи любили кондоминиумы.
Поэт собой соединил несое-
динимое,
любили всё: объятия, и ссоры,
и венских стульев шеи лебединые.

А жизнь давно зашла за середину,
У Зины в кухне догорали зимы.
А Люся, в духе Нового Завета,
была, как революция, раздета.
Мужская страсть белела, как седины.
Эпоха – третья женщина поэта,
его в себя втыкала, как в розетку —
переходник для неисповедимого.

У Зины в доме – трепет гарнизона,

и пармезан её не пересох.
У Люси – нитка горизонта
развязана, как поясок.

– Вас сгубит переделкинский отшельник, —
не царь, не государственный ошейник, —
две женщины вас сгубят.

I'm sorry.
Настали времена звериные.
Какие муки он терпел несои-
змеримые.

А жёны помышляют о реванше.
И, внутренности разорвавши,
берёзы распрямлялись:
та – в могилу,
а эта – с дочкой в лагерь угодила.
И в его поле страшно и магнитно
«Люби меня!» – звучит
без возражений.
И этим совершалось воскрешенье.

Летят машины – осы Патриарха.
Нас настигает осень Пастернака.

У Зины гости рифмами закусывали.
У Люси гости – гении и дауны.
Распятый ими губку в винном соусе
протягивает нам
из солидарности.

У Зины на губах – слезинки соли,
у Люси вокруг глаз синели нимбы...

Люби меня!
Соедини несое-
динимое...

Тебя я создал из души и праха.
Для Божьих страхов, для молитв
и траханья.
Тебя я отбирал из женщин разных —
единственную.
Велосипедик твой на шинах красных
казался ломтиками редиски.

Люби меня!
Философизм несносен.
Люзина? Люся?! Я не помню имени.
Но ты – моя Люболдинская осень.
Люби меня!
Люби меня!

Люби меня!

Лик Демона похож на Кугультинова.
Поэт уйдёт. Нас не спасают СОИ.
Держава рухнет треснувшей льдиною.

ПОЭТ – ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕДИНИМОЕ

2003

МОРЕ

Море разглаживает морщины.
В море – и женщины, и мужчины.
Глупо расспрашивать про причины.
Море разглаживает морщины.

Спят пеликаны, как нож перочинный.
Сколько отважных море мочило!
Пляж не лагает тебя. Молодчина!
Горе не страшно. Оно – не кручина.

Море разглаживает морщины.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ

Деньги пахнут будущим,
тем, на что их тратим, —
для детсада булочкой
или же терактом.

Деньги пахнут жизнью,
мыслью миллионов.
Пахнут потным жимом
нищих чемпионов.

Деньги пахнут женщиной,
страстную мотовкой,
чуждой сбереженщине...
Новенькой церковкой.

Богом деньги пахнут,
детским марципаном.
Баху, как и Пахмутовой,
нужны меценаты.

Пахнут волей, Господи,
иногда тюрягою.
Чем их больше копите —
больше их теряете.

Впрочем, неприлично
говорить о деньгах.
Как хвалиться лично,
Колько трахнул девок.

Живите незапахнуто,
даже тот, кто в розыске.
Удобренье пахнет
будущими розами.

* * *

Как палец, парус вылез.
И море – в бигуди.
И чайки смелый вырез
у неба на груди.

2004

НЕ СЕТУЮ

Рыбу третьей свежести едим из Сетуни.
Поэты третьей свежести набрались сил.
Но не бывает отечества третьей степени.
Медведь вам на ухо наступил.

Моё отечество – вне всякой степени,
как Бога данность, —
к нему, точно к песне, всегда не спетой,
испытываю благодарность.

РАДИ ТЕБЯ

Ради тебя надрываюсь на радио —
вдруг Ты услышишь, на службу идя.
Я в этой жизни живу Тебя ради,
ради Тебя.

Я тренажеры кручу Тебя ради,
на пустом месте педали крутя.
В жизни, похоже, я кем-то украден.
И надо мною кружат ястреба.

Между убийцами выбор и пройдами.
Не ради «зелени» и тряпья,
не для народа я пел, не для Родины —
ради Тебя, ради Тебя.

Точно на диске для радиолы

дактилоскопическая резьба —
без Твоих пальчиков мне одиноко!
Приди ради Бога, ради Тебя.

Не в Петербурге, не в Ленинграде —
в небе над Невским мы жили с Тобой.
Третий глаз в лоб мне ввинтишь Тебя ради
антикокардой. Это любовь.

В моих фантазиях мало доблести,
жизнь виртуальную торопя,
я отучаю Тебя от комплексов
ради Тебя, ради Тебя.

Пусть пародийны мои парадигмы.
Но завтра сбудется трепотня.
Если умру я, повторно роди меня —
роди ради Бога, ради Тебя.

2004

НОВЫЕ СТИХИ

НОВЫЙ ПОЭТ

Старый корвет – самый юный и модный
тысячу лет.
Вышел на улицу без намордника
старый поэт.
В ужасе дети. Полыми флейтами
свищет скелет.
Вдруг проклянёт он наше столетие,
страшный поэт?
Мэтр партизанит хромой куртизанкою
под марафет.
Танки похожи на запонки
в грязном снегу манжет.
Ежесекундно рождается заново
новый поэт.
В жизни для женщин, в хохоте встречных
смерти ища,
старый поэт, ты бессмертен и вечен,
как человеческая душа!
Душа народа на предъявителя.
Возраста нет.
Где моя вера, шар из финифти?
Слово в зените через запрет?
Новые русские, извините,
я – старый поэт.

ОЗЕРО ЖАЛОСТИ

Твои очи – Женевское озеро.
Запрокинутая печаль.
Кто-то бросил? Сама ли бросила?
Жаль. На жизни написано: «ЖАЛЬ».

Вспышки чаек, как приступы боли,
что ко мне, задышав, спешат.
Точно пристальные магнолии,
украшающие ландшафт.

Сплюснен озера лик монголоидный.
Вам в душе не летать уже...
Нелетающие магнолии,
или парусник в форме «Ж».

Упредивши мужские шалости,
пережив успех и позор,
мы спускаемся к озеру Жалости,
может, главному из озёр.

Жизнь истоптана, как сандалии.
В диафрагме люди несут
это чувство горизонтальное,
сообщающееся, как сосуд.

Вздёрни брючный манжет, точно жалюзи!
И летит, взяв тебя в полон,
персональное озеро Жалости,
перепончатое, как баллон.

Жаль, жалея не повторится!
Жаль – Кустурица не Бежар,
жаль – что курица не жар-птица,
жаль.

Жаль прокладки, увы, не лампадки,
озаряющие алтарь.
А шарпея, смятого в складки,
что, не жаль?

Жальче, что моей боли схватки
тебя бросят в озноб и жар?

Почему это всё продолжается,
как элегия Балтрушайтиса?
Кто у чаши отбил эмаль?
Мы устали жалеть? Пожалуйста!

Нету озера! Нету жалости!
Опустите брючные жалюзи.

Проживём без жалости... Жаль.

Понимаю, есть женские козыри,
шулер некая, точка ги! —
шулер, некая точка рю,
чашу лермонтовскую допью...

Тебе фото Женевского озера,
точно зеркальце, подарю.

ОТКАТ

Благодарю тебя за святочный
певучий сад.
Мы заменили слово «взяточник»
на благозвучное «откат».

Мы в мировом правопорядке
живём фарцой.
С нас Бог берёт, как пчёлы взятки,
пыльцой.

Как хорошо в душе, и в лимфах,
и в голове.
Господь мне посылает рифмы,
себе взял – две.

Отказ от родовой фазенды.
Отказ от сдачи на лотках.
Откатывающиеся проценты.
В иные времена – откат.

А по ущельям и аркадам
акант цветёт.
Я научился жить откатом,
отказом от

экономических загадок,
пустых задач.
Ночь открывается закатом!
Люблю закат!

Откатываются тревоги,
от волн откат.
Откатывающиеся дороги
ведут назад.

Отряд ушёл беспрецедентно:
четверо ничком лежат.
Господь забрал себе проценты.
Откат...

* * *

Я хочу Тебя услышать.
Я Тебя услышать хочу.
Роза, ставшая усыхать,
шорох вечности обрета,
мне напомнит каракульчу.

Звук – пустышка, белиберда.
Стакан, звякнувший по кольцу.
Я хочу услышать Тебя,
прядь, что нотным ключам под стать,
и кишку, что бурчит опять, —
я хочу Тебя услышать —
блузки шелесты по плечу...

Всю Тебя хочу.

СОСКУЧИЛСЯ

Как скученно жить в толпе.
Соскучился по Тебе.
По нашему Сууксу.
Тоскую. Такой закрут.
По курточке из лоскут,
которую мы с Тобой
купили на Оксфорд-street.
Ты скажешь, что моросит...

Скучаю по моросьбе.
Весь саксаулочный Крым,
что скалит зубы в тепле,
не сравнится с теплом Твоим.
Соскучился по Тебе.

По взбалмошному леску
с шлагбаумовой каймой,
как по авиаписьму,
отосланному Тобой.

Соскучился по шажку,
запнувшемуся в дому.
Соскучился по соску,
напрягшемуся твоему.
Всю кучерскую Москву
ревную я потому,

что жили мы пять минут,
и снова опять во тьму!

И нас спасти не придут
ни Иешуа, ни Проку-...

Все яблочки из прейску-
червивые, точно Q.

Угу!
Я – совсем ку-ку!

Сейчас заскулю как су-
ка бескудниковская! Хочу
замученные жемчу-
жины серых Твоих глазищ!

Ты тоже не возражишь,
что хочешь на Оксфорд-street.

Гитара в небе летит.

При чём она? А при том!
Сказал мне Андре Бретон
о том,
что летит она,
похожая на биде!

Паскуды! Пошли все на!..
Соскучился по Тебе.

Соскучился и т. п...

ПРОЩАЙ, САЙГАЧОНОК!

Вертолётной охоты загадка —
тень, скакнувшая по холмам.
Как глазастый детёныш сайгака,
умерла Франсуаза Саган.

Нынче кажется несуразно —
когда мне, учащая пульс,
ты представилась: «Франсуаза»,
как сказала бы – «Здравствуй, грусть».

Стала горьким слоганом фраза.
Мне хотелось всего и сразу.
Я обидел тебя, Франсуаза.
С длинноногой ушёл, как хам.
Мы с тобой – скандальные профи,
персонажи для PAL/SECAM.
Виноватую чашечку кофе
не допью с Франсуазой Саган.

Кеды белые, как картофель
ежедневных телереклам.

Кто вмонтирован в современность —
Магомет или Иисус?
Нашей дезде: «Да здравствует ненависть!»
отвечаешь ты: «Здравствуй, грусть».

Нашим дням, ты сказала бы – полный,
не Великий пост, а постец.
Сайгачонку сломали крестец.

Абажур протрезвевший вспомнит
твою фразу: «Bonjour, tristesse».

Я теперь брожу по Парижу,
Грусть нелепа, как омнибус.
Всё прекрасно и не паршиво.
Наспех с кем-нибудь обнимусь.
Вдруг ты выглянешь, сайгачонок,
и в глазах твоих огорчённых —
Bonjour, грусть...

Там Гольбейн пьёт с Куртом Кобейном...
Тома Круза ждёт в гости Пруст.
Все обиды теперь – до фени...
Точно кайф мечты наизусть,
мне над чашечками кофейными
повторяешь ты: «Здравствуй, грусть».

Инакомыслие кокаина.
Ты простила. У ангелов стресс.
Мне прощаться с тобой наивно.
До тебя лишь один присест.
Груз души, что в тебе повинна,
тяготит. Абажур нетрезв.

Прощай, грусть. Твой «bonjour, tristesse!»
Как ты там? С кем шнуруешь кеды?
Я от ужаса отшучусь:
«Сайгачонок, бонжур, покедова!»
Прощай, грусть!

ПЛОХОЙ ПОЧЕРК

Портится почерк. Не разберёшь,
что накарябал.
Портится почерк. Стиль нехорош,
но не характер.

Солнце, напрягшись, как массажист,

дышит, как поршень.
У миллионов испорчена жизнь,
воздух испорчен.

Почки в порядке, но не понять
сердца каракуль.
Точно «Варяг» или буквочка «ять»,
тонет кораблик.

Я тороплюсь. Сквозь летящую дичь,
сквозь нескладуху —
скоропись духа успеть бы постичь,
скоропись духа!

Бешеным веером по февралю
чиркнули сани.
Я загогулину эту люблю
чистописанья!

Скоропись духа гуляет здесь
вне школьных правил.
«Надежды нету – надежда есть»
(Апостол Павел).

Почерк исчез, как в туннеле свет.
Незримый Боже!
Чем тебя больше на свете нет —
тем тебя больше!

СЕМИДЫРЬЕ

В день рожденья подарили
мне заморский дылбушир.
Сальвадорье. Семидырье.
Трёх вакханок чёрных дыр.

Что пророчат их проделки?
Чтобы вновь башку разбил?
Кабинет мой в Переделкино
свищет сквозняками дыр.

В каждой женщине – семь дыр:
уши, ноздри, рот и др.
Но иного счастья для
есть девятая дыра.

Автор в огненном тюрбане
продуцирует стриптиз —
гениальный Мастурбатор?
Фиолетовый флейтист?

Праздник – шумная Ходынка.
Но душа заштопана;
закупоренная дырка.
Кто бежит за штопором?

Ищет рай душа Яндырова,
потеряв ориентир.
Что в подарок мне вкодировал
гений, прародитель дыр?

Сбросьте иго истеричек!
Дар – возможность стать собой.
Супернеэгоцентричность —
быть дырой.

Радырадырадыра —
возрождаемся, даря.

Сталин – Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье
жить с звездой № 9!

* * *

Памяти Алексея Хвостенко

Пост-трупы звёзд.
Отрубился Хвост.

Прохвосты пишут про Хвоста.
Ворчит святая простота
из-под хвоста.

Звезда чиста.
Прошу Христа
понять Хвоста...

Бомж музыки над площадью Восста...
ты вроде пешеходного моста,
пылишь над нами, в дырках, как бигудь...

Забудь.

Прости короткой жизни муть.
Мети бородкой Млечный Путь.

ВЕСЁЛЕНЬКИЕ СТРОЧКИ

И потом Тебя не будет.

Не со мной. А вообще.
Никто больше не осудит
мой воротничок в борще.

Прекратится белый холмик —
мой и твой ориентир.
Превратится в страшный холод
жизнь, что нам я посвятил.

Оказалось, что на деле
всё ушло на пустяки.
Мы с Тобою не успели
главного произнести.

Превратится в дырку бублик,
всё иное не стерпя.
А потом меня не будет.
Без меня. И без Тебя.

ПРЕМЬЕРА

Крик прорезал великолепия
смятых ужасов. Се ля ви.
Чехов умер от эпилепсии
на премьере фильма «Свои».

Умер парень с фамилией Чехов:
фильм – от ужасов жизни суд.
Не до смехов. Не до успехов.
Люди в саване тело несут.

Ключья пены эпилептической.
«Скорая» торопится, но без раболепия,
полицая в пузо эпилептическое
тычет ножиком эпилепсия.

Вы скажите, актёр Евланов,
гениально сыграв простоту,
почему страшней всех экранов
смерть глядит в четвёртом ряду?

Кем он был? Ничего достоверного.
На фасаде лестница, как порез.
В день рождения Достоевского
вдруг прозреем через болезнь?

Он пришёл без друга, без женщины.
В небеса, как дуга троллейбуса.
Из процентщины, из прожженщины
вырывается эпилепсия!

Я стою, представитель плебса,
мну фуражечку очумело.
Продолжается эпилепсия.
Это ещё премьеры.

ДОМ ОТДЫХА

Озеро отдыха возле Орехово.
Шахматно воткнуты в водную гладь
белые бюсты – кто только приехал,
бюсты из бронзы – кому уезжать.

Быть отдыхающим – это профессия.
Рядом летают тарелки борща.
Сушатся трусики фильдеперсовы —
всё сообща.

Утром журфиксы. Журчанье Вивальди.
А за стеной
слышно, как писает в умывальник
трижды герой.

В небо свинцовое запускаются
детям шары,
будто качают вишнёвые яйца
в небе слоны.

Не рокируется. Не кирается.
Скорби бабуль.
Ты – золотая, словно кираса.
Скоро – буль-буль...

* * *

Люблю неслышный почтальона,
вечерним солнцем полный напослед,
прозрачный, словно ломтики лимона,
пронзительный велосипед.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Нагни позвоночник ликующий.
Когда, безоглядно и древне,
Тебя волшебной лягушкой
начну превращать в царевну.

Ю. Д.

Юрий Владимирович Давыдов.
Смушал он, получив «Триумф»,
блатною шапочкой ликвидов
наполеоновский треух.

Бывалый зэк, свистя Вертинского,
знал, что прогресс реакционен.
За пазухою с четвертинкою
был празднично эрекционен.

На сердце ссадины найдут его.
Стыдил он критика надутого:
мол, муж большого прилежания
и ма-алого дарования.

Бледнели брежневы и суловы,
когда, загадочней хасидов,
за правду сексуальным сусликом
под свист выскакивал Давыдов.

Не залезал он в телеящики.
Мне нашу жизнь собой являл.
И клинышек его тельняшки
звенел, как клавиша цимбал.

Вне своры был, с билетом волчьим.
Он верил в жизни торжество.
Жизнь поступила с ним, как сволочь,
когда покинула его.

ДИРИЖЁРКА

Деклассированные вурдалаки
уподобились комарью.
Ты мне снишься во фраке,
дирижируешь жизнь мою!

Я чувствую переносицей
взгляд напряжённый твой.
Ко мне лицом повернёшься,
ко всем – другой стороной.

Волнуется смятый бархат.
Обёрнутое ко мне,
твоё дыхание пахнет
молодым каберне.

Музыкально-зеркальная зомби,
ты стоишь ко мне – боже мой! —
обернувшаяся лицом ты! —
а ко всем – другой стороной...

И какой-то восторженный трепет
говорит тебе: «Распахнись!»
Возникающий ветер треплет
взмахи крохотные ресниц.

Когда же лапы и руки
рукоплещут, как столб водяной,
ко мне повернёшься лучшей,
главной своей стороной!

И красные ушки в патлах
просвечивают, красны.
И, как фартук, болтаются фалды
как продолжение спины.

Те фалды, как скрытые крылья
у узниц страшной страны, —
как будто кузнечики Крыма,
что в чёрное облачены.

За тобою лиц анфилады
и беснующийся балкон.
Напрягаются обе фалды,
изгибающиеся в поклон.

И под фалдами треугольничек
проступает эмблемой треф.
Так бывает у горничных,
реже – у королев.

ВИРТУАЛЬНОЕ ВРУЧЕНИЕ

1

Я вручаю Пастернаковскую премию
мёртвому собрату своему,
Бог нас ввёл в одно стихотворение,
женщину любили мы – одну.

Пришло время говорить о Фельтринелли.
Против Партии пошёл мой побратим.
Люди от инстинкта офигели,
совесть к Фигнер послана фельдъегерем,
может, террор имитировал интим?

Как спагетти, уплетал он телеграммы,
профиль его к Джакометти ревновал,
я обложку книги сома ато
с именем Джакомо рифмовал.

В нём жила угрюмая отвага:

быть влюблённым в Пастернака, злить печать,
на свободу выпустить «Живаго»
и в дублёнки женщин наряжать!

Я вручаю Фельтринелли-сыну
золотой отцовский реквизит,
как когда-то ему, мальчику, посыльным,
Дилана автограф привозил.

Чтобы мы, убогие, имели,
если б Фельтринелли не помог?!
По спинному мозгу Фельтринелли
дьявола шёл с Богом диалог...

2

Усмехаясь, ус бикфордовый змеился,
шёл сомнамбулический роман...
Было явное самоубийство,
когда шёл взрывать опору под Милан!

Женщина, что нас объединяла,
режиссировала размах.
Точно астероид идеала
в нас присутствовал Пастернак.

Как поэт с чудовищною мукой,
никакой не красный бригадир,
он мою протянутую руку
каменной десницей прихватил.

Он стоит, вдев фонари, как запонки,
олигарх, поэт, бойскаут, шалопай.
Говорю ему: «Прости, Джан Джакомо!»
Умоляю: «Только не прощай!»

Разоржаться мировой жеребщине,
не поняв понятие «апельсин»!
Тайный смысл аппассионатной женщины,
тая, отлетит, необъясним...

На майдане апельсины опреснили,
нынче цвет оранжевый в ходу.
Апельсины, апельсины, апельсины
меня встретят головешками в аду.

3

Жизнь прошла. Но светятся из мрака,
в честь неё зажжённые в ночи,

общим пламенем на знаке Пастернака
две – мужских – горящие свечи.

ХОББИ

Неабстрактный скульптор,
беспорный Поллок,
собираю скальпы
мыслящих бейсболок.

Мысли несовковые,
от которых падаю,
и гребут совковою
с козырьком лопатую.

Проступают мысли
вверх ногами скорби.
Это моя миссия,
это моё хобби.

Нету преступления —
в мыслях, но – ей-богу (!),
хорошо бы от Ленина
найти бейсболку!

ПЕСЕНКА

Спит месяц набекрень,
как козырёк на лбу.
Всё в мире дребедень,
но *я тебя люблю!*

Усадьба – а-ля Лувр.
Ус Чаплина – дабл'ю.
Вздохнут духи «Аллюр»,
а *я тебя – люблю!*

Купите ТераФлю,
кончайте terror, бля!
Курите коноплю!
А я люблю – тебя!

Как дятел, я долблю,
верблюдов веселя.
Цепочкой из дабл'ю
жужжжитполётшмеля —
шмаляйте по шмелю!

И, вызывая смех
у нашего зверья,

ты скажешь: «Больше всех
люблю тебя!» А я?

МАРЛЯ ВРЕМЕНИ

Я поздравляю Вас, Марлен Мартынович!
Изящный носитель крутых седин.
Я бы назвал Вас – Марлен Монтирович,
Марлен Картинович,
Антиминфинович,
друзьям – Мартелевич,
врагам – Мортирович.
Антимундирович такой один.
Нет Маркса, Ленина – есть Мэрилин.
Марлен, как «шмалер», незаменим.

Для нас Вы были Политехничевич,
хрычи хрущёвские Вам ленты резали,
аполитичный, не чечевичный,
Вы – очевидец новой поэзии!

Когда нас душат новые циники,
наследнички, нынешние ЦК,
мы посылаем их на Хуциева!
Пока работаем на века!

Марлен Мартынович, надежда малая
была когда-то, сейчас – не то.
Время – как рана с присохшей марлею
от Мэрилин к Марлон Брандо.

Марлен, Вы в инее, как Папа Карло.
Пой с Бобом Марли у красных стен,
когда ландшафтники Вашей марлей
Кремль запаковывают, Марлен.

В губерниях скука и троекуровщина.
Нет Маркса, Ленина, но есть Марлен!
Я бы назвал Вас – Марлен Триумфович.
Вы – марли времени феномен.

КЛАРНЕТ

По полю древней битвы,
где памятник Шкуро,
летит опасной бритвой
орлиное перо.

И мы предполагаем,
что где-то вознесён

орёл за облаками,
и белоснежный он.

Чтоб наш талант не скурвился
во Владике Монро,
светает белокурое
мэрлиное перо.

Пусть дробит государство,
гоняется за ним...
Прицельный дротик дартса,
увы, неуловим!

Поэзия есть тайна
древней Политбюро.
Летает нелетально
транзитное перо.

Арина Родионовна,
платок повязан «Першингом»,
чтоб беды милой Родины
казались лёгким пёрышком.

Серебряной расчёской
летело НЛО,
но времени причёска
исходит от него.

Пьеро, в церкви не пукнувший,
увидит над метро
незримо в ручке пушкинской
дрожащее перо.

Холмы наши и овны
поэтому легки,
как будто нарисованы
поэтом от руки.

ЗАГАДКА ЛФИ

Засунув руки в брючные патрубы,
будто катая ядра возбуждения для,
Вы мне сказали про солдат Партии:
«Нужна в хозяйстве и грязная метла!»

Сейчас всё кажется сентиментальщиной,
чудно :
Вы были главным эпохи подметальщиком,
я – выметаемое дерьмо.

Опали крылышки махаонные.

Команда подметальщиков, увы, мертва.
Осталась самострельная, самоходная,
самоуправляемая метла.

Зачем Вы стали погромщиком маньяковским?
Стали демоном ненависти, любви?
Тайным собирателем картин Маковского?
Почти тёзка Ильфа – ЛФИ.

Зачем Вас вымели? Вывернули выдрюю?
Сдали замминистром в Йошкар-Олу?
Может быть, за то, что мне тайну выдали
про государственную метлу?

В склепе запакованный в стиль нашего Капоне,
как гранит рокфоровский исчервлён,
кто расслышит стон ваш заупокойный,
Леонид Фёдорович Ильичёв?

ПАМЯТИ НАТАШИ ГОЛОВИНОЙ

Дружили как в кавалерии.
Врагов посылали на...
Учила меня акварелить
Наташа Головина.

«Что моет нам кисти? Разве
не женский эмансипат?
Андрюша, попробуй грязью
красивое написать!»

Называется нейтральтином
задумчивый смыв кистей.
Впоследствии Тарантино
использовал слив страстей.

Когда мы в Никольском-Урюпине
обнимались под сериал,
доцент Хрипунов, похрюкивая,
хрусть томную потирал.

Была ты скуласта, банзаиста.
Я гол и тощ, как горбыль.
Любил ли тебя? Не знаю.
Оказывается – любил.

Мы были с тобою в паре.
Потом я пошёл один.
Обмывки страстей создали
чудовищный нейтральтин.

Карданной церковной башней,
густой вызывая стыд,
рисунок твой карандашный
в моей мастерской висит.

Выходит шедевр тем краше,
чем больше в мире дерьма.
Оправдано кредо наше,
Наташа Головина.

* * *

Михаилу Жванецкому

Проктолог – отоларингологу:
«Сквозь лявру вижу вашу голову.
В дыру тоннеля бесконтрольного
я вижу божий свет и горлинку».

Проктолог – отоларингологу:
«Ночами и парторги голые!
Вглядитесь в глубину парторгову!
Отари Ларина потрогала».

Проктолог – отоларингологу:
«Не запивай пулярку колою!
Путь к воскрешенью зафрахтован
нам Франкенштейном и Фрадковым».

Проктолог – отоларингологу:
«Патрон наш срок не пролонгировал
С тротилом тачка припаркована.
С одной Тобою нет прокола».

Проктолог – отоларингологу:
«У Ларри Кинга risk с приколами.
Россия славится расколами.
Ахматова сгубила Горенко».

Ты, Миша, брутто-гениален
меж непробудных гениталий.
Стране, дежурящий, ты дорог
как практикующий проктолог!

Пускай другие врут с три короба:
«Шнур популярнее Киркорова».

СОМНАМБУЛА

Полемизировал с Магометом.

Как подсолнечник, жёлт прикидом.
Маяковский был первым скинхедом?
Может, скажете – первым шахидом?!

Но наивная боль кубиста
перехлёстывала сквозь это.
Сомнамбулическое самоубийство
возвратило его в поэта.

Он парит над Москвой лубочной,
над Лубянкою криминальной.
Гениальный он был любовник,
остальное – конгениально.

И в отличие от смоковницы
с саксаулами,
революция Маяковского —
сексуальная!

«Мяу-ковский» – вопили кошки.
«Мао-конский» – глас протодьякона.
Поэт играет в собственные кости.
Как в небе «Як» или совесть св. Якова.

Зазывая в глаза огромные,
Киберматерью была его Лили.
Убивались или любили.
Или – или.

Лилю Брик клеймили интриги:
«Чёрный пояс на ней с резинками».
Местечковый акцент меняли комбриги
на метерлинковской.

Не любил его критик в кофточке.
Наш народ так его и не понял.
Нацепив на лацкан морковку,
уходил Маяковский по небу.

Озарённая преступлением,
вся страна подымалась в гору.
Окровавленными ступенями
по шинелям шли «разговоры».

Рты заклеены, как конверты.
Не удерживаюсь от трюизма:
Маяковский – первая жертва
государственного терроризма.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА

По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля —
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.

* * *

Суперстары. Супостаты.
Хрущёв круче Троцкого.
Он своих крестьян подставил
в эпицентре Тоцкого.

* * *

Используйте силу свою.
Мы гости со стороны.
Вы бьёте по острию.
Я гвоздь от иной стены.

Мне спину согнули дугой,
по шляпку вбили вовнутрь.
Я гвоздь от стены другой.
Слабо Вам перевернуть?!

Битый ноготь черней, чем дёготь, —
боязно глаз впереть.
Назад невозможно дёргать.
Невозможно – вперёд.

Вы сами в крови. Всё испортив,
ошибся конторский вождь.
Сияет стена напротив —
та, от которой я гвоздь.

Я выпрямлюсь. Я найду.
Мы гости иной страны.
По шляпку в тебя войду —
я гвоздь от Твоей стены.

* * *

Мост. Огни и лодки.
Речушки борозда.
Баржа с седеющей бородкой
ползла, как старая дыра.

АПЕЛЬСИНЫ, АПЕЛЬСИНЫ...

Нью-йоркский отель «Челси» – антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решётками галерей – даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по энергии тяготеющих к «белым дырам», носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссёры подпольного кино, звёзды протеста, бритый под ноль бакуинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили мою историю.

Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разорённой войной и строительством социализма.

Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своём трёхкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай. Звезда андеграунда режиссер Ширли Кларк затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.

Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.

Она была фоторепортёром. Порвав с буржуазной средой отца, кажется, австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниева вспышка подчёркивала её близость к иным стихиям. Она была звёздна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-бура» – мог бы повторить про неё поэт.

Едва она вбежала в моё повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

– Бабочка-бура! – безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолётов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Её чёрная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Её тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешёвых тканей. Ей шёл оранжевый. Он звал её подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в её жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя с любой валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за иступлённостью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотёсанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полёта. В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь, – тоскливо думал он, возвращаясь в отель. – Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк Апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лёг на диван, дремал. Потом пошёл во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго – новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

– Мне надо с собой апельсинов.

– Сколько? – презрительно промычал буйвол.

– Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашёл ещё в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в чёрном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной причёской, в расстёгнутой полузаправленной рубашке. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Её лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полёта. У него кто-то есть! Она сейчас же развернётся и уйдёт.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

– Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света – замыкание.

И замешкался с её вещами в полутёмном предбаннике.

Ах так! Она ещё не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу всё обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела. Пол пылал.

Тёмная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскалённым булыжником пола.

Пол горел у неё под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за её плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чёртовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал, свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном чёрном проливном плаще, пощёчинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга! Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза – и под тобой поплывёт плавающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую комнату, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижами, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыряться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожуры.

Она коротко взглянула, стала оседать. Он едва успел подхватить её.

– Клинический тип, – успела сказать она. – Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Русский дизайн».

2006

* * *

Мой кулак снёс мне полчелюсти.
И мигает над губой
глаз на нитке. Зато в целости!
Вечный бой с самим собой.

Я мечтал владеть пекарней
где жаровни с выпечкой,
чтоб цедить слова шикарно
над губою выпяченной.

Чтобы делать беззаконий
обезьяны не могли,
мчитесь, сахарные кони,
в марципановой пыли!

ИНТЕРФЕРНАЛ

По-немецки gross,
а по-русски гроздь.
По-английски host,
а по-русски гость.

Граф с погоста был культурен.
Отрекомендовался: «Нулин».
«Граф Хулин?» – уточнили воспитатели.

Спасибо, Господи, за hospitality!

О КАЗАЛОСЬ

Казалось:
«Ружья в козлы!»
Оказалось:
«В ружьё, козлы-ы!»
Казалось:

«Афган!»
Оказалось:
«Off gun».
Казалось:
«Тарантино».
Оказалось:
«Скарлатина для взрослых».
Казалось:
«Тарантинэйджер».
Оказалось:
«Трахнул тёлку через пейджер!»
Казалось:
«Посол».
Оказалось:
«Пил рассол».
Казалось:
«Чайку бы и травки на дорогу...»
Оказалось:
«Чайка – плавки Бога».
Казалось:
«Порноистец против ТЭЦ».
Оказалось:
«Полный привет!»

НИЩИЙ ХРАМ

Бомжам с полуистёртой кожей
я, вместо Бога, на халяву,
воздвигну белый храм, похожий
на инвалидную коляску.
В нём прихожане нехорошие,
одни убогие и воры.
Их белоснежные колёса
станут колёсами обзора.
Шиповники бубенчиковые
сквозь ноты литургии лезли.
Я попрошу Гребенщикова
петь популярнее. Как Пресли.
И может, Бог хромую лярву
возьмёт к себе в свои пределы
из инвалидного футляра,
как балерину Рафаэлло.

А сам Господь в морях манивших
шёл с посохом, как будто по суху,
и храм стригущей машинкой
шёл, оставляя в рясах просеку.
В этой просеке паривший
стал ангелом не Элвис Пресли,
а Брэдбери, как папа римский,
катящийся в инвалидном кресле.

* * *

Спас космический, Спас Медовый,
крестом вышитые рушники,
католический крестик Мадонны,
растегнувшись, смущал Лужники.
«Грудь под поцелуи, как под рукомоЙник»
(Пастернак).
Как песенка в банкомате:
«Мадонной стала блондиночка с Лукоморья».
Кем станет московская Богоматерь?...

* * *

Ландышевый дом.
Пару лет спустя
я приеду днём,
когда нет тебя.
Я приду в сад,
сад взаврадашний.
На сушилках висят
чашки ландышей.
Хватит лаяться.
По полям ушла
«Шоколадница»
с чашкой ландыша.
За окошком в ряд
мини-лампочки.
Фонари горят
или ландыши?
У тебя от книг —
пополам душа.
Как закладки в них
листья ландыша.
Твоя жизнь — дневник,
вскрик карандаша.
В твою жизнь проник
запах ландыша.
Всё в судьбе твоей
полно таинства.
Приходи скорей —
зачитаемся!

ЁЛОЧНЫЕ ПАЛЬЧИКИ

Сегодняшнему ширпотребу
нельзя понять, зачем запальчиво
тысячи ёлок тычут в небо

указательными пальчиками?
Им видно то, что мы не видим.
Я не теолог.
Но в жизни никак не выйдем
на уровень понятия ёлок.
Кто право дал еловой нации
судить земные распорядки?
Как лампочки иллюминации,
не требующие подзарядки.
Зачем им рукава имбирные?
зигзагами по касательной?
Всё это фирменные ширмы
для этих пальцев указательных.
Снег кружится балетной пачкой
над ёлками. Знаем с горечью,
что ёлки состоят из пальчиков,
и эти пальчики игольчаты.
Но сколько в мире старых пальчиков:
им хоть налево, хоть направо.
Но сколько аппаратных пайщиков,
указывающих на неправду!
Так, в счастье новоселья женщина,
въезжая в новую квартиру, грустит.
И что ей померещено
в игрушке с вырванным ватином?...
Какая радость, не наперсничая,
понять иллюзию игрушки:
на пальчик нацепить напёрсточек,
шары оранжевые в лузе!
Повсюду новое топорщится.
А может, старое исправится?
Стремглав летим из-под топорщица!
И, снова взвиваясь, новая избранница.
Вечно-зелёные надежды
на измененья новогодние.
Кругом валяется одежда —
домишки, стёганки с вагонкою.
А ты? Ты в этом вихре мнимом?!
Иль рот пирожными запачкала?
И тёплый свет струится нимбом
от указательного пальчика.

ОТ ТРЁХ ДО ЧЕТЫРЁХ

В окошках свет погас,
умолкнул пустобрёх.
Пошёл мой лучший час —
от трёх до четырёх.

Стих крепок, как и чай.
Вас посещает Бог.

Шла служба при свечах
от трёх до четырёх.

Как слышно далеко!
Как будто возле нас.
Разлили молоко...
Спустили унитаз...

Очередной мосхит?
Или поёт москит?
От трёх до четырёх
наш мир не так уж плох.

Люблю я в три проснуться,
в душе – переполох,
Конфуция коснуться
и спать без задних ног.

Кабина поперёк
и Хайдеггер, дымясь
камином кочерёг,
попросвещает Вас.

Пускай Вы в жизни лох,
и размазня-пирог,
но Вы сейчас – пророк,
и смысла поперёк!

Я сам не разумел
идею, что изрёк,
но милиционер
вдруг взял под козырёк.

Становимся у касс.
Обломы за отказ.
Но в небе только час,
отпущенный для нас.

Жизнь – полусонный бред.
«СТИЛНОКСА» пузырьёк
прокладывает брешь
от трёх до четырёх!

Я без тебя опять.
Как мне найти предлог,
чтоб досуществовать
от четырёх до трёх?

Кто в дверь звонит? Мосгаз?
Не слушайте дурёх.
И не будите нас
от трёх до четырёх.

ОДА МОЕЙ ЛЕВОЙ РУКЕ

Рука, спасибо за науку!
Став мне рукой,
ты, точно сука, одноуха,
болтаешься вниз головой...

Собаки – это человечье,
плюс – animal.
Мы в церкви держим в левой свечки,
чтоб Бог нас лучше понимал.

А людям без стыда и чести
понять помог
мой аргумент мужского жеста,
напрягшегося, как курок.

Ты с женщинами непосредственно
вела себя.
Ты охраняешь область сердца, —
боль начинается с тебя.

Ты – это мой самоучитель,
ноты травы.
Сегодня все мои мучители —
это мучители твои!

Когда ж чудовищная сила
меня несла —
башку собою заслонила,
меня спасла...

Но устаёшь от пьедестала.
Моя ж рука,
вдруг выкобениваться стала,
став автономно далека.

Я этот вызов незаконный
счёл за теракт!
Но – хочет воли автономий
анатомический театр!

Я твой губитель, я – подлец.
Ты чахла.
Обёртывалась новой чакрой
неизлечимая болезнь.

Ты мне больничная запомнилась.
Забыть нельзя.
Лежишь, похожа на омовца,

замотанная по глаза.

Не помню я тебя скулящей,
когда скорбя,
мы с мировыми эскулапами
осматривали тебя.

Как мог я дать тебя кромсать
ножам чужим и недостойным,
мешая ненависть со стоном?!.
Так, вашу мать!

Междоусобны наши войны.
Дав свою плоть,
мы продаем себя невольню
и то, что завещал Господь.

Мне снится сон: пустыня Гоби.
На перевязи, на весу,
как бы возлюбленную в гробе,
я руку мёртвую несущу.

Возлюбленная – как акула.
Творя инцест,
меня почти совсем сглотнула,
ещё секунда – сердце съест!

Прощаюсь с преданною жизнью.
Рука ж вполне
здоровая – на ней повисну,
как тощий плащ или кашне.

* * *

Ты, наклоняясь, меня щекочешь,
и между мною и тобой
качнётся крестик на цепочке,
как самолётик золотой.

Так меж нас, когда мы озоруем,
как зов столетия иным,
порхает крестик поцелуем,
материализованным.

ЧАСОВНЯ АНИ ПОЛИТКОВСКОЙ

Поэма
Memento Anna

Часовня Ани Политковской
как Витязь в стиле постмодерна.

Не срезаны косой-литовкой,
цветы растут из постамента.

Всё не достроится часовня.
Здесь под распятым деревянным
лежит расстрелянная совесть —
новопреставленная Анна.

Не осуждаю политологов —
пусть говорят, что надлежит.
Но имя «Анна Политковская»
уже не им принадлежит.

Была ты, Ангел полуплотская,
последней одиночкой гласности.
Могила Анны Политковской
глядит анютиными глазками.

Мы же шустрим по литпогостам,
политруковщину храня.
Врезала правду Политковская
за всех и, может, за меня?

И что есть, в сущности, свобода?
В жизнь воплотить её нельзя.
Она лишь пониманье Бога,
кого свобода принесла.

И что есть частная часовня?
Часовня – лишь ориентир.
Найти вам в жизни крест тесовый,
который вас перекрестил?

Накаркали. Накукарекались.
Душа болеет, как надкостница.
Под вопли о политкорректности
убили Анну Политковскую.

Поэта почерк журавлиный.
Калитка с мокрой полировкой.
Молитвенная журналистика
закончилась на Политковской.

Ментам мешают сантименты.
Полгода врут интеллигентно.
Над пулей с меткой «Политковская»
черны деревьев позументы.

Полусвятая, полускотская,
лежит в невыплаканном горе
страна молчанья, поллитровок
и Чрезвычайного момента —

Memento mori

Часовёнок

Мы повидались с Политковской
у Щекочихина. Заносчив
был нос совёнка-альбиноски
и взгляд очков сосредоточен.

А этот магнетизм неслабый
мне показался сгоряча
гордыней одинокой бабы,
умеющей рубить сплеча.

Я эту лёгкую отверженность
познал уже немолодым, —
что женская самоотверженность
с обратной стороны – гордынь.

Я этот пошляковский лифтинг
себе вовеки не прошу, —
что женщина лежала в лифте.
Лифт шёл под землю – к Щекочу.

Никакой не Ангел дивный,
поднимающий крыла.
Просто совестью активной
В этом мире ты была.

Мать сидит от рыданья.
Ей самой не справиться.
Ты облегчишь ей страданья,
наша сострадалица.

Ты была совёнок словно.
Очи. Острота лица.
Есть святая для часовни
Анна Сострадалица.

Нас изменила Политковская.
Всего не расскажу, как именно.
Спор заведёт в иные плоскости,
хоть нет часовни её имени.

Она кометой непотребной
сюда явилась беззаконно.
В домах висят её портреты
как сострадания иконы.

Не веря в ереси чиновные,
мы поняли за этот срок,

что сердце каждого – часовня,
где вверх ногами – куполок

Туда не пустит посторонних,
седой качая головой,
очкарик, крошка-часовёнок,
часовенки той часовой.

Молись совёнку, белый витязь.
Ведь Жизнь – не только дата в скобках.
Молитесь, милые, молитесь
в часовне Анны Политковской.

Чьи-то очи и ланиты
Засветились над шоссе! —
как совёнок, наклонившийся
на невидимом шесте.

Блуждающая часовня

Часовни в дни долгостроения
не улучшали настроения.

Часовня – птица подсадная,
Она пока что безымянна,
но у любого подсознания
есть недостреленная Анна.

Я обращаюсь к Патриарху
Услышанным сердцебиеньем,
чтоб субсидировать триаду —
Смерть. Кровь. Любовь —
всем убиенным!

Пуускай придут инвестиции,
пусть побеждает баснословно
души спасенье возвестившая
блуждающая часовня.

Блуждающая меж заблудших,
кто отлучён катастрофически,
кто облучён сегодня будущим,
как гонщики и астрофизики.

Сосульки жмурятся, как сванки.
Окошко озарилось плошкой,
блуждающей часовней – Анной
Степановной Политковской.

Неважно, кто Телец, кто Овен,
прислушайтесь – под благовест

идёт строительство часовен.
Когда достроимся? Бог весть»!

Имя твоё – внеплановая листовка.

<p>АННА СТЕПАНОВНА ПОЛИТКОВСКАЯ ✠ 7.10.06.</p>
--

Седьмое.
Десять.
Ноль шесть.
Не много земного.
Дерзость, но крест.
Синь смога.
Дескать, но есть.
Немого детства
Норд-Вест.

Умолчит ли толпа безлика?
Чеченская ли война?
Взирает на нас Великая
отечественная вина.

Ответственность за содеянное —
не женщин и не мужчин —
есть Высшая Самодеятельность
иных, не мирских причин.

Обёртывается лейкозией
тому, кто шёл против них, —
такие, как Политковская,
слепой тех сил проводник.

Курит ли мент «ментоловые»?
Студента судит студент.
На нас проводит винтовка
Следственный эксперимент.

След ниточкой дагестанской
Теряется среди лавин.
Жизнь каждого – дегустация
Густых многолетних вин.

Ждёт пред болевым порогом,
прикрыта виной иной
моя вина перед Богом
и Бога – передо мной.

Общественные феномены
голода и Чечни...

Бывает народ виновен?
Формулы неточны.

Никто убийц этих не видел
Приметы несовковые:
мужчина ввинчен в белый свитер
плюс женщина очковая!

Февральский эпилог

Над кладбищем над Троекуровским
снег – как колонны с курватурами.

Сметаем снег с Твоей могилы.
– А где ж дружки её? Чай, скурвились? —
изрёк шофёр. – Помочь могли бы.

А рядом хоронили муровца —
салопы, хмурые секьюрити,
шинели и автомобили.
Поняв, что мы – твои тимуровцы,
к нам потеплели и налили.
Шофёр наш, красною лопатою
перебирая снег, поморщился.
Водка – не лучшая помощница.

Лампадки, чьи-то бусы, лапотник
«Новой газеты», траур. Лабухи
и мальчики тебя любили.
Февральские снега обильные...
Лишь ленты деревца могильного
в снегу чернели, как мобильники.

Что снится Вам, Анна Степановна?
Поле с тюльпанами?
Кони с тимпанами?
Сынок с дочуркой мчатся кубарем.
Бутыль шампанского откупорим.
Жизнь? Чеченцы с терренкурами?
А за оградой Троекуровской
убитый с будущим убийцей
пил политуру, кушал пиццу,
делился с ним запретным куревом,
девицу в кофточке сакуровой
улещивал? – Наоборот!

Гриппозные белели курицы.
Секьюрити-мордоворот
следил, как «роверы» паркуются.
Народ они имели в рот.
И ждали девку белокурую

два хулигана у ворот.

Читатель мой благоразумный,
не знаю, чем тебя завлечь?
Я обожаю нецензурно
неподражаемую речь!..

Куда ведёт нас жизни уровень,
полусвятой, полубесовский?
Поставь свечу на Троекуровском
в часовне Анны Политковской.

И в наше время коматозное
по Троекуровским пределам
дымок, курясь над крематорием,
попыхивает чем-то белым.

БОЛЬШОЕ ЗАВЕРЕЩАНИЕ

Поэма

I

Я, на шоссе Осташковском,
раб радиовещания,
вам жизнь мою оставшуюся
заверещаю.

В отличие от Вийона
с Большим его Завещанием,
я в грабежах не виновен,
не отягощён вещами.

Тем паче, мой пиджак от Версаче,
заверещаю.

На волю вышел Зверь послушания.
Запоминайте Заверещание:
не верьте в вероисповедание,
а верьте в первое своё свидание!

Бог дал нам радуги, водоёмы,
луга со щавелем.
Я возвращаю Вам видеонами.
Заверещаю.

Я ведь не только вводил шершавого
и хряпал на шару!
В себе убил восстание Варшавское.
Заверещаю.

Почётному узнику
тюрьмы «Рундшау»

улётную музыку —
заверещаю.

Мы не из «Новости»,
чтобы клеймить Сороса.
Не комиссарю.

Свобода от совести
не в собственном соусе.
Заверещаю.

Не попку, облизанную
мещанами,
любовь к неближнему
заверещаю.

Зачерпни бадейкой
звезду из лужищ
и прелюбодействуй,
если любишь.

От Пушкина – версия Вересаева.

Есть ересь поколения
от Ельцина до Вошанова.
Я прекращаю прения.
Заверещаю.

II

Не стреляйте по птичьим гриппам,
по моим сегодняшним хрипам!

Над Россией Небесный Хиппи
летел, рассеянный, как Равель.
Его убили какие-то психи,
упал расстрелянный журавель.
Не попадёт уже в Куршавель.

«Курлы!»
не было рассадником заразы.
Наши члены УРЛЫ
это поняли сразу.

В нашей факанной ошибке, бля!
Остался вакуум журавля...

Его ноги раскладывались
подобно зонтикам.
Его разбросанные конструкции,
нам подпиравшие его экзотику.

(Мы рассматривали его конструкцию.
Под ним оказалась окружающая Земля.
Но нет прекрасного журавля.)

Журавль – не аист, но отчего-то
упала рождаемость, пошли разводы.

Андрей Дмитриевич сказал в итоге:
«Нас всех теперь пошлют строить
железные дороги».

Отто Юльевич промолчал.

И посмотрел в гриппозное небо:
глядели колодезные журавли.
Зураба башни в небе стоят.
Журавль в них вырастит журавлят.
Рюмашка – ножка от журавля.
Не разбей, Машенька, хрусталя.

Ни Журден, ни Чазов, ни Рафаэль
не вернут тебя, долговязый журавель.

Мы – дичь.
О наследниках поэтич. и юридич.
скажу впоследствии.
В интересах следствия.

III

Страшно наследство: дача обветшала!
Свою вишутку заверещаю!

Мои вишутки – не завитушки,
а дрожь, влюблённая в руке!
Как будто рыжие веснушки
оставит солнце на реке.

Не политические вертушки.
Даже то, что Вы член ВТО,
вещдок останется как вишутка.
Жизнь как жемчужная шутка Ватто.

Как вишуткино пролетела
нержавейка воздушная —
метрополитен гениального
Душкина!

Гений, он говорил нам, фанатам:
«Не заклинивайтесь на верзухе!!!»

Живите по пернатым, по вишуткам».

IV

Какое море без корабля?
Какое небо без журавля?

Заверещаю все звёзды и плевелы
за исключением одного.
Твой царский подарок,
швейцарский плеер,
не доставайся ты никому!

Мы столько клеили с тобой красавиц,
Моё дыхание в тебе осталось.

Тебя я брошу в пучину. За камни.
Мне море ответит чревоуещанием.
Волна откликнется трёхэтажная.
Вернисажевая.

V

Лежу на пьедестале в белых тапочках.
Мысль в башке копается, как мышь.
Мой мозг уносят, точно творог в тряпочке,
смахнув щелчком замешкавшуюся мысль.

Нет жизни на Земле. Однако
поклонников зарвавшаяся рать,
«зарвавшегося Пастернака»
(«мол, смерти нет») тащила умирать.

И дуновением нирваны
шло покаяние в Душе.
И в откровении Иоанна
написано, что «смерти нет уже».

Шли люди, взвивши штоф, как капельницы,
жизнь алкая и смерть алкая.
Офицеры, красавцы, капелевцы
шли психической атакою.

И с пистолетами, и с удавками,
нас теснили, хоть удержишь.
Толкая перед собой жизнь неудавшуюся,
как будто есть удавшаяся жизнь.

Нет правды на земле, но правды нет и выше.

Все папарацци. Я осознавал:
как слышен дождь, идущий через крышу,
всеобщей смерти праздничный хорал.

**Диагноз: плескит.
Господь простит.**

Лангетка —
вроде голландского ландскнехта.

Боль крутящая, круглосуточная.
Это не шуточки...
Боль адская!
Блядская акция.

В небе молнии порез.
Соль щепоткой, побожись.
Жизнь – высокая болезнь.
Жизнь есть боль, и боль есть жизнь.

VI

Не думаю, что ты бессмертна,
но вдруг вернёшься
в «Арбат Престиж»?
Или в очереди на Башмета
рассеянно у соседа
ты спросишь:
«Парень, что свиристишь?»

Ты никогда не слыхала голос,
но узнаешь его из тыщ.
В твоём сознании расколосось:
вдвоём со мною засвиристишь.

Пустая абстрактнейшая свирельщина
станет реальнее, чем Верещагин.
Единственная в мире Женщина,
заверещаю.

Чуир, чуир, шурленец,
глаукомель !

P. S.

Стрелять в нас глупо, хоть и целебно.
Зараза движется на Восток.
И имя, похожее на «Бессеребренников»,
несётся кометно чёрным хвостом.

Люблю я птичью абракадабру:
пускай она непонятна всем.
Я верую в Активатор Охабрино (!)
из звёздной фабрики «Гамма-7».

В нашем общем рейсе чартерном
ты чарку Вечности хватанёшь,
и окликнет птичью чакру
очарованный Алконост.

Арифметика архимедленна —
скоростной нас возьмёт канун.
Я вернусь спиралью Архимедовой:
ворона или Гамаюн?

Не угадывая последствие
распрямится моя душа,
как пересаженное сердце
мотоциклиста и алкаша.

Всё запрещается? Завершается.
Идут циничные времена.
Кому химичится? В Политехнический.
Слава Богу, что без меня.
Политехнический, полухохмический
прокрикнет новые имена.

Поэты щурятся из перемен:
«Что есть устрица? Это пельмень?»
Другой констатирует сердечный спазм:
«Могут ли мужчины имитировать оргазм?»
И миронически новой командой —
Политехнический Чулпан Хаматовой.

Всё завершается?
ЗАВЕРЕЩАЕТСЯ!

P. P. S.

И дебаркадерно, неблагодарно,
непрекращаемо горячо
пробьётся в птичьей абракадабре
неутоляемое «ещё!»

Ещё продлите! Пускай «хрущобы».
Жизнь – пошло крашенное яйцо!
Хотя б минуту ещё. Ещё бы —

ЕЩЁ!

О ВОЗНЕСЕНСКОМ

Владимир Новиков

Из статьи «Философия метафоры»

«Новый мир», 1982, № 8

...Мир строится непрерывно. Таков основной закон поэтики Вознесенского, такова эмоциональная логика его образов. Метафорическое изобилие стихов Вознесенского – факт очевидный, но ещё не очень понятый хотя бы потому, что оценки он вызывает полярно противоположные. <...> «Метафора – мотор формы», – написал Вознесенский в 1962 году, размышляя о поэзии Гарсиа Лорки. Кому-то этот лозунг оказался неприятен, кому-то просто непонятен – и потому враждебен. Я не считаю, что понятие «метафора» нуждается в защите и оправдании, но не хочу отгораживаться и от тех читателей, которые с подозрением относятся к моторам и формам.

Метафора по-гречески означает перенос, перенесение признака с одного предмета на другой. Метафора Вознесенского – это чаще всего вознесение, рывок от традиционно низкого к высокому.

Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Острый взгляд? «Хищный глазомер»? Но ведь эти качества просто так никому не даются: они входят в состав таланта только в сочетании с жаждой идеала. Обнаружить чисто геометрическое сходство окошка кассы с формой нимба может, наверное, каждый человек. Но точно выразить эмоциональное следствие этого сходства – дело другое. Здесь соблюдена душевная мера гармонии, ведь сравнение получилось обоудовозвышающее: кассирша уподобилась Богородице, а та в свою очередь ожила, заговорила. <...>

При появлении «Параболической баллады» кто-то упрекнул Вознесенского в воспевании окольно-параболических путей и недооценке прямой линии. «Треугольная груша» долгое время служила дежурным символом заведомой бессмыслицы, хотя в самом стихотворении «груши треугольные» пояснялись рифмой «души голые» – какие ещё нужны комментарии? «Антимиры» утвердили за автором стойкую репутацию негативиста, строящего свой мир не то на потусторонних, не то на нигилистических основаниях. Это при всём множестве стихов, совершенно недвусмысленно рисующих земные радости, выражающих жизневосприятие безмерно счастливого человека! <...>

...Про иных поэтов можно заранее сказать: такое-то слово для него нехарактерно, на такую-то тему он писать не станет. Но не про Вознесенского. По тематике и словарю он универсалист, энциклопедист. А где установка на энциклопедизм, на полноту обзора – там отсутствие в художественной системе любой темы (самой приземлённой), любого слова (самого грубого) было бы просто ложью. Вот почему для Вознесенского употребление в стихах слова «унитаз» не является непристойностью, а те, кто такую здесь усматривает, просто стихи не по назначению употребляют. Не что за предмет назван, а с чем он сравнивается – вот логика поэзии. <...>

Часто говорят о том, что метафоры и ритмы Вознесенского сконструированы, смонтированы, не рождены непосредственным эмоциональным порывом! Но сделанное в искусстве, если оно сделано хорошо, сразу становится живым, «рождённым» (смотри об этом у Овидия – история Пигмалиона). Художественное творчество – это всегда сочетание сознательного конструирования и безотчётных прозрений. Сколько затрачено того и другого – это интимная тайна художника. <...>

Отчётливость метафорических линий – форма откровенности. Эти линии – набухшие вены на натруженных руках поэзия. Для Вознесенского метафора не только средство живописания, но и способ автопортретирования, лирического самопознания. Авторское «я» строится на многократном сравнении себя с самыми разными людьми. С Мэрилин Монро и рыбаком, с Пушкиным и Гоголем, с Маяковским и Высоцким... (А чем не каноничны переводы стихов Микеланджело? Тем, прежде всего, что в каждом «я» сравнение автора с переводчиком.) Это всё лица, а не маски. Поэт не играет во всех этих людей, не притворяется ими, а ищет с каждым общее – с каждым разное, для каждого открывает новое место в своей душе. И несходства не стыдится, не скрывает его – оно ровно в такой же степени ценно и значимо, как сходство: «Такое же – и всё другое».

Лирический герой Вознесенского человечески конкретен, определён. Стремясь понять всё и всех, он не заявляет авансом всепонимания и всепринятия. Любя Пикассо, не скажет, что ценит также и Шишкина. Цена в женщине красоту, не поспешит оговориться, что на первом плане для него всё же душевные качества. У него очень свои почва и судьба.
<...>

Почва, судьба... Не превращаются ли эти слова в некую догму, когда за ними подразумевают строго обязательный вариант биографии: испытания, невзгоды, трудности?
<...>

Своей профессии Вознесенский никогда не стыдится, не притворяется даже в шутку непоэтом. Поэзия – доминанта характера, суть судьбы, смысл жизни:

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Поэзия и жизнь раздельны, но поэт не чувствует между ними границы. Блок говорил о нераздельности и неслиянности жизни и искусства – эта формула антирассудочна, «её можно только пережить, почувствовать». Вознесенский дал свой эмоциональный вариант этой идеи на сегодняшнем языке.<...>

Именно пережить, предчувствовать, а не предвидеть... <...>

Космос чувства – это равновесие радости и боли. Пока баланс этих сообщающихся сосудов сохраняется – мир неистребим.

Сравнение, соотнесение радости и боли – сквозная тема поэтической работы Вознесенского, начатая ещё в «Мастерах», развёрнутая во множестве сюжетов и образов и наиболее отчётливо обобщённая метафорой соблазн. О радости и боли Вознесенский не рассказывает, он вводит их в читателя через стих. <...>

Чувство – не замена разума, а его проводник в сложных, кажущихся тупиковыми ситуациях. Метафора – не замена мысли, а энергетическое поле, в котором думается по-новому, обновляются и самые способы мышления. <...>

Чувство выступает для Вознесенского и тем критерием, который диктует меру простоты или сложности разговора с читателем. Вообще говоря, поэтов сложных или простых, по-моему, не существует: и сложность, и простота – инструменты, выбираемые в соответствии с интуитивно ощущаемой творческой задачей. Но поскольку Вознесенского даже в последнем энциклопедическом словаре сопровождает мета усложнённости, хочется сказать и о вполне доступной поэту «неслыханной простоте». Ну, вот хотя бы:

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заметим только, что и простота у Вознесенского своя, «неслыханная» в том смысле, что мы её не слышали у кого-нибудь другого. <...> А естественность интонации, свободное звучание стиха, «впадающего в речь», – это попросту безотказное свойство работы Вознесенского и в «простых» и в «сложных» вещах. Может быть, для понимания поэзии каждому нужно хотя бы чуть-чуть попытаться побыть поэтом? Не знаю, но очень тревожно слушать разговоры о том, что высокий уровень стиха ничего не значит, что стихи и поэзия – вещи разные. По-моему, это безответственная схоластика, поскольку вне стиха, вне музыки мастерства поэзии не существует.

Юнна Мориц

Перечитывая Андрея Вознесенского

...Более двух десятилетий бурно спорят критики о Вознесенском, прибавляя жару столь же бурной любви к нему колоссальной читательской аудитории. Неизменно пишут о том, что Вознесенский ворвался в поэзию стремительно, как метеор, как шаровая молния, вместе с шумной толпой молодых, которые вмиг растолкали не успевших опомниться старших и ринулись на эстраду, чтобы своим артистизмом превратить читателя в слушателя и в зрителя и добиться славы, минуя книжные полки.

Наивно думать, что вообще возможен такой примитивный, стадный прорыв в поэзию мимо всех и вся, мимо книг и живых классиков, расталкиваемых локтями (Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого, Твардовского)... Нет, старших по возрасту поэтов не только не пришлось расталкивать, но напротив – они (Маршак, Антокольский, Асеев, Тихонов, Симонов, Твардовский, Светлов, Винокуров) с равнодушием, свойственным всякому сильному таланту, откликнулись и немало способствовали прорыву в поэзию тех молодых людей, которых теперь называют поэтами шестидесятых. <...>

Андрей Вознесенский стал известным поэтом в тот день, когда «Литературная газета» напечатала его молодую поэму «Мастера», сразу всеми прочитанную и принятую не на уровне учтивых похвал и дежурных рецензий с их клеточным разбором, а восторженно и восхищённо.

Свобода и напор этой вещи, написанной двадцатипятилетним Андреем Вознесенским, были наэлектризованы, намагничены током страстей, живописью и ритмом, дерзкой прямоотой и лукавой бравадой, острым чутьём настроений своего поколения, злобы ночи и злобы дня. Вознесенский предстал в «Мастерах» как дитя райка (во всех значениях слова): раёшный стих, раёшный ящик с передвижными картинами давней и сиюминутной истории, острота, наглядность и живость райка, и – автор, вбежавший на сцену поэзии с вечно юной галёрки, которая тоже – раёк.

Краткое сообщение крайней важности: «Художник первородный – всегда трибун. В нём дух переворота и вечно – бунт».

Раёшная звуковая роспись – всем телом: «На колу не мочало – человека мотало!», «Не туга мощна, да рука мощна!», «Он деревни мутит. Он царевне свистит...», «Чтоб царя сторожил. Чтоб народ страшил».

Никакой чопорности, никакой пелены поэтических привычек, зато чудесная зрячьсть к «подробностям», вроде снега и солнца, которые молодой Вознесенский не раскрашивает, а рассверкивает, озорничая стихом...

Под конец поэмы – рад дерзких и торжественных обещаний, плакатных, откровенно публицистических, на крике:

Врёте,
сволочи,
будут города!
Над ширью вселенской
в лесах золотых,

я,
Вознесенский,
воздвигну их!

Какая ослепительная вера в свои силы, в свою удачу, в значительность происходящего, в читателя, который должен чувствовать то же и так же! Читатель – цель и высший суд, и оправдание, и триумфальная радость, и чувство своего единственного пути...

Через много лет и через много книг Андрей Вознесенский категорически скажет в «Надписи на „Избранном“»:

Всё, что сказал, вздохнув, удостоверю.
Не отрекись.

Андрей Вознесенский никоим образом не старался усмирить бурные споры и установить ровное к себе отношение критики, прекрасно понимая, что самые разные, изошрённые и лобовые, сыпучие и летучие упреки в его адрес лишь способствуют неукротимому интересу и пылкой взаимности читателя, умеющего ценить в поэте энергию противоборства всяческой косности, которая не только не отстаёт от времени, но порой опережает его, всё равно оставаясь косностью и прокрустовым ложем. На этих путях и скоростях Андрей Вознесенский доказал, что он сильная творческая личность со своей энергетикой.

А меж тем энергия Вознесенского неистощима, он добывает её отовсюду... Эта неустанная энергодобыча и энергоснабжение читательской массы – самое, на мой взгляд, поразительное и первостепенное качество Андрея Вознесенского. Люди, горящие ожиданием у книжных прилавков и в необъятных залах, – свидетельство тому неоспоримое.

Вознесенский дерзок, самоуверен, любит свою судьбу и удачу, не без шика и не без бравады, но нет в нём и тени избранничества, надмирности, мерзкой мании величия. Его примчал в поэзию не только необычайный талант, но и необычайный напор того поколения, которое он представляет и чувствует всем существом, как охотничий пес. Он воспел самых разных героев и антигероев этого поколения во всей их красе – в благородстве и пошлости, в смертных подвигах и смертных грехах, в целомудрии и распутстве, в самоотверженности и подлости, в храбрости и нахальстве, без лести и без прикрас, языком падений и взлётов, обращаясь к высоким и чистым, к пошлым и низким сторонам жизни в век НТР, в космический век разобщения и свёрхобщения.

<...>

А что и говорить о спрессованности метафор, о сложном сгущении красок, о калейдоскопе метаморфоз, переходящих в узоры абстракций, о страшных скоплениях интимных страстей – об этих видах горячего в атмосфере, где поэт и читатель так близки, что «человек – не в разгадке плазмы, а в загадке соблазна» и «соболезнуй несоблазненным», но «долгой порнографию духа!», «не горло – сердце рву!».

<...>

Физический и духовный мир поэзии Андрея Вознесенского насыщен мощными биотоками на всём пластическом пространстве – от конкретной, телесной природы («во сне надо мною дымился испорченный мощный кишечник Сикстинского потолка») до абстрактных узоров час пик и видений австралийского аборигена. В «Портрете Плисецкой» Андрей Вознесенский прямым текстом говорит о своём эстетическом кредо: «у художника – всё нешуточное», «мускульное движение переходит в духовное», «формалисты – те, кто не владеет формой. Поэтому форма так заботит их».

С точки зрения ссылок на вечность, законы которой якобы известны критикам, Вознесенский весьма уязвим, он умеет дразнить блюстителей правил поэтического движения, и это он тоже делает энергично:

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что среди общей благодати
меня кроют одного.
Как овечка чёрной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

...Если поэта можно без конца обсуждать, значит, нет к нему равнодушия и его присутствие конкретно связано с нашим сознанием и волнует, влияет, влечет.

1981

Татьяна Бек

Из статьи «Творчество – это отрочество»

Колокола, гудошники,
Звон, звон...
Вам, художники
Всех времён!

Год, наверное, 1963-й. Поэзия – в оттепельные массы! Мне (всё повторяется) четырнадцать лет, и мы с одноклассниками ходим попеременно то в «гудящую раковину гиганта – ухо Политехнического», то в гигантский зал Лужников... О, счастье, о, морок! На обратном пути Ахмадулина с Вознесенским, которые только что шаманили на просцениуме, поднимаются по кривым, по весенним ступенькам в троллейбус № 15, и мы все скопом едем до метро «Спортивная». Можно исподтишка разглядеть поближе доброе, и странное, и некичливое лицо моего (о!) поэта. «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот...»

Минуло четыре десятилетия.

По-прежнему любя стихи Вознесенского, позднее я открыла для себя его мемуары и эссеистику – спасибо за щедрую пристальность к чужим мирам, за острый прищур памяти, за это его собственное словосочетание – «рифмы прозы»... Вознесенский как поэт подлинного дара свыше (так музыканту от рождения даются особые пальцы и абсолютный слух), в рамках коего авангарду не тесно с традицией, музыке – с архитектурой, стиху – с графикой, духу – с плотью, всегда был и, слава тебе Господи, остаётся и вдохновенным, и неровным. Завистливые коллеги и прокурорствующие критики (по Шварцу «жучки») всю-то жизнь и справа, и слева старательно фиксируют именно его неровности, не замечая, что и они, отклонения, повторы, сбои, у настоящего, то есть вдохновенного поэта суть коллекционная ценность, постепенно входящая в историю русского слова...

Эрнст Неизвестный

Ритмы, пространство, звуки

Из предисловия к Собранию сочинений в 5 томах.

М., «Вагриус», 2000

«Я – Гойя... Я – Голос... Я – Горло...» – говорит мне память из почти полувекового пространства. Я читаю. Я слышу напряжённый ритм контрапунктов каприччио. Я чувствую запах тайны, войны и страха. Я поворачиваю голову. Я вижу: Я – Гойя! Труба и набат зазвучали тогда тревогой.<...>

Когда позднее я познакомился с Андреем и услышал его стихи, меня поразила его

манера читать: губы – труба, горло – пульсирующая воронка, рождающая звуки слова. Я был удивлён полному совпадению моих впечатлений от чтения и слушания его стихов. Полифония звуков в ритмическом пространстве приближается ко мне, как несущийся через туннель поезд. Звуки достигают поверхности, приобретают смысл слов-символов, и восстанавливается связь времени. На ритмическое мгновение движение останавливается и пространство статично. Затем «Я» Гойи, Войны, Горла повешенной бабы через голос «Я» Вознесенского продолжает говорить и возобновляется цикл: звук – пространство – ритм – форма – время.

Голос, ритм и плоть поэзии Андрея Вознесенского пронизывали и наполняли пространство и время, в котором я работал. Почти телепатические совпадения архетипов и метафор его слова и моей пластики лечили от одиночества.

Распятая, распятая! Меня преследовали распятия: распятые деревья, распятые в полёте птицы, распятия разлёта бровей и цветов. И вдруг у Вознесенского:

Лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

...Пространственно-пластическая метафора изобразительного искусства была совершенно непривычна, а от этого особенно враждебна. Быть может, именно от традиционной внешней доступности и привычности, слова, если и не до конца были поняты, хотя бы не так сразу пугали. Определённая в пластике метафора времени была совершенно неприемлемой для инквизиторов Нового времени. Андрей и я всё это понимали.

<...>

Магическая заворожённость рифмованного слова отнюдь не спасала лучшие из них от вытравления известными препаратами цензуры. Но тот, кто хотел работать, – работал. Кто не мог не работать, работал. На небо некоторые из нас отпущены не были. Видно, имеются за нами кое-какие долги, да удерживают нас здесь так любящие нас. Выручает и помогает Андрею игра.

Вознесенский ведёт весёлую и грозную игру со словом. Со словом-заклинанием, со словом-заговором. Ведёт игру в пространственные, ритмические, звуковые, – магические шарады. Игра эта отнюдь не бегство. Она – суть, возвращение к истокам. Воскрешение утраченной традиции поэтики податливого, пластичного, послушного, полного полунамёков, чудных недосказанностей и пророчеств русского языка.

Модернизм гораздо ближе по своей сути народным игрищам и карнавалам, чем любая усреднённая гладкопись на тему.

И вот Вознесенский погрузился в эту традицию и как никто другой приблизился к её эзотерической сердцевине.

Именно поэту присуще слышать ритмы пространства в своём «акустическом цеху», может, «минуя Времени реку, читать Матфея или Луку» и бежать «укушенному собаками... через Москву...», через Лесной регтайм. И одному ему известной лёгкостью обживать это пространство заново. Проходить каждый раз по острию эстетического баланса, истории, традиции, улицы и салонов и создавать своё языкотворчество и свой миф Шаланды Желаний, где между ужасом оставленности, «неточными писсуарами Марсель Дюшана» и «лавандовыми вандалами» «шаландышаландышаландыша – ЛАНДЫША ХОЧЕТСЯ!»

Мне запомнились слова патриарха нашего структурализма Виктора Борисовича Шкловского: «Стихи Вознесенского полны трагической точности в изображении современности. И слова стихов Вознесенского набегают друг на друга и повторяют друг друга, как звуки ударов буферов внезапно остановленного поезда».

Поэтика Вознесенского влияет на современников. Многие прошли его школу. Даже у его недругов встречались его образы, интонации, строки.

Пространственные игры Андрея всё продолжают. И василиск дара всё преподносит

новые сюрпризы. Сюрпризы истинно Вознесенские – головокружительные, прозрачные, проникающие, пронзительно лиричные, пророческие, страшные... и весёлые. От «Треугольной груши», «Антимиров», «Ахиллесова сердца», наконец, «Гадания по книге», «Casino „Россия“ и „Девочка с пирсингом“», его видеом, выстроенных по законам застывшей музыки архитектуры, где есть бесконечные множественности, объединённой первородным толчком дара и замысла, рождается звуковой, ритмический и пространственный синтез – синтез Вознесенского.

<...>

Голос Вознесенского «привлѣк любовь пространства» и «услышал будущего зов», пропустив мимо ушей хамскую дьяволиаду хрущёвского времени. По почерку мастера узнаем руку его – самого поэтического поэта в психопатическое время России. Поистине, на исходе XX века ясно, что место в XXI веке ему гарантировано... Ритмы XX века «самого великого поэта современности» (как свидетельствует недавно журнал французских интеллектуалов «Нуфель обсерватер»), вероятно, живут уже в XXI веке.

Член десяти академий мира, Вознесенский на самом деле не академик. Он – маг! поэт и художник – маги по своему назначению и предназначению. Они обладают изначальным знанием подлинных имён вещей и способны вызывать их из небытия к жизни, облекая в форму. Быть может, поэтому вчера, как сегодня, Андрей Вознесенский ворожит-завораживает, иронизируя, играя, перетекая через ритм от звука, намѣка и недомолвок к всепоглощающему смыслу в пространстве собственных слов и строф.